

## Аркадий Стругацкий Дьявол среди людей

*Сон разума рождает чудовищ.*

Перифраз

### 1

*Но какое допустил святотатство патер грубый!*

*Он послать себе позволил «Таусфес-Ионтеф» к чёрту в зубы.*

*«Боже, тут всему конец!» — кликнул рабби в исступленьи...*

Мой стариннейший знакомец (ныне уже покойный), майор милиции С., как-то попросил меня написать всё, что я знаю о деле Кима Сергеевича Волошина. Ему хотелось, чтобы я рассказал всю эту историю как она представлялась мне и некоторым моим сосвидетелям, не скрывая никаких подробностей. Помнится, я принял тогда эту его просьбу за проявление некоего местного патриотизма. Он тяжело и искренне любил наш Ташлинск и всячески стремился прославить его в веках, и помню я, как бурно он радовался, когда открылось, что у нас целую неделю квартировал штаб мятежного Пугачёва. Но если говорить откровенно, что представлял собою Ташлинск в дни моей юности? Не то что на карте генеральной, не во всяком атласе отыщешь. Так, большое село. Да и ныне скорее село, нежели город, хотя именуется городом. Районный центр в бывшей Новоизотовской, ныне снова Ольденбургской области. Маслозавод, механические мастерские, райком партии, пяток кинотеатров.

С другой стороны — майор С. Тот самый, что шестью выстрелами уложил в нашем Овраге восьмерых бродячих кошек и старуху побирушку. У него своя логика, и, боюсь, безупречная. Взять, например, Назарет. Тоже ведь не был ни вторым Карфагеном, ни третьим Римом, а ныне славен на весь мир! Так что если когда-нибудь историю с Кимом Волошиным размотают и распубликуют, то вполне возможно, что в каких-нибудь анналах, медицинских или, на крайний случай, уголовных, появится термин «ташлинский феномен». Это и требуется. И нечего, Алексей Андреевич, саботировать. Я вам в своё время посильно помогал, извольте соответствовать.

Я долго уклонялся, ссылаясь — и не ложно — то на хворости, то на занятость. А потом майор С. вдруг умер. Он был на десяток лет моложе меня; я узнал, что умер он не от тех болезней, которые за ним числились, и я понял, что это — судьба. И сел за машинку.

### 2

*Говорят, в разгромленной кровавыми бомбёжками японской столице часто находили в развалинах «чёрных кукол», сцепившихся друг в друга заживо сгоревших людей. Да ещё в блокадном Ленинграде видели сплотившихся в смертном объёме скелетоподобных мертвецов. Было, было что-то, толкавшее в смертную минуту людей друг к другу. Да что говорить! В восемнадцатом году топили гардемарин, мальчиков пятнадцати-шестнадцати годков. Связывали руки за спиной, навешивали на шею ржавые колосники и стаскивали за борт. Одного за другим, в общую кучу. Вода была на удивление прозрачная, и любопытствующие отметили, что в последние секунды земного существования своего утопленные копошились в груди уже мёртвых, словно бы стремясь найти себе уютное место, СКЛУБИТЬСЯ в одну*

*общую массу.*

Я ведь и не помню времени, когда впервые встретился и подружился с Кимом Волошиным. Время было тягостное. Мужчин рвало на куски германское железо, а женщины вкалывали, молились и плакали ночами до изнеможения. Время было под лозунгом «Все на Голгофу!». Вот в это время и появился в нашем Ташлинске будущий возмутитель спокойствия нашего, замурзанный и обтрёпанный, с трудом владеющий человеческой речью мальчик Ким. Как появился? Да просто волею смертельно уставшей чиновницы, торопливо заполнявшей бесконечные ведомости. Уже в студенческие времена довелось мне услышать анонимную песню под гитару:

Из краёв освобождённых,  
С чёрной, выжженной земли  
К нам пригнали эшелоны  
И детишек привезли...

Эшелоны не эшелоны, а десяток детишек по какому-то распределению доставили в Ташлинск. Ещё в первую военную зиму к нам пригнали целый детский дом из Западной Украины. И Кима угодили туда. Нет, ничего плохого про это заведение не скажу. Из детдомовцев этих вышли совсем неплохие люди. Тот же майор С., например. Или (на свою беду) первый секретарь нашего горкома... Ну, конечно, и сволочи вышли, не стану называть фамилии, они подошли уже и пусть горят вечным огнём. Все они умирали тяжело, и не мне, их врачу, вещать на весь свет то, что мне о них рассказывали и тем более в чем они в предсмертном бреде мне признавались. О мёртвых, как известно, либо ничего... А почему, собственно? Впрочем, речь не о них.

Ну-с, Ким у нас угодил в этот самый детский дом к пацанам из Западной Украины. И там его, конечно, как завязатого кацапа принялись было нещадно бить. Походя оскорблять, мочиться в его постель, отнимать еду. Дело известное. Мальчишки и звери — одна потеря. Но тут не на таковского напали. Ну-с, когда его в очередной раз жестоко отлупили, отобрали у него добротные армейские ботинки и отняли за ужином миску голодной каши вместе с голодной хлебной пайкой, он среди ночи тихонько встал, подкрался к своему главному обидчику, сыто и сладко спавшему под тремя одеялами, и со всего размаху треснул его по голове табуреткой. Ирония судьбы. Этого долдона через месяц должны были призвать в армию. Но после табуреточного сотрясения он почти пять месяцев проволынил в больнице и тем, по существу, спасся. Я его видел потом: кончил войну каким-то политруком, орден, медали и харя — троим не обгадить. Инструктор нашего родного Ольденбургского... виноват, тогда ещё Новоизотовского обкома. Оч-чень значительное лицо, ныне, впрочем, на пенсии.

Так вот, о Киме. Табуреточное дело в детдоме, конечно, замяли. Там и не такие дела заминали. Трёх заведующих, пятерых завхозов, неучтённое число поварих и нянек отдали под суд, шайки осатаневших от голода воспитанников грабили погреба, лавки и хаты, хозяйки отбивались вилами и топорами, трупы мальчишек и девчонок тайком где-то закапывали, изувеченных увозили неизвестно куда... Это общеизвестное. А что касается Кима, то приставать к нему перестали, но и дружбы ничьей в родном детдоме он не сыскал. Все числились на Голгофе. И Ким подружился со мной.

Во-первых, в классе оказались мы за одной партией. Это само по себе сближает. Но главное — моя мама. Чем-то очень ей понравился Ким. И когда приходил он к нам делать уроки, ему всегда выставлялось угощенье: мятая варёная картошка, круто посоленная и с нарезанным лучком, залитая обратом. И мы всласть лопали. Боже мой, как мы лопали, вспомнить страшно! Только хлеба, конечно, было маловато — так, по маленькой горбушке на нос.

И изрядно было нами обговорено в ту пору, как это всегда водится между

мальчишками.

### 3

*Палач не плясал на трупах. Это бедной Каталине почудилось в бреду. Он просто утапывал землю на свежем захоронении.*

Точного возраста своего Ким не знал, пять лет ему записали на глазок. Не знал он и своей фамилии, и имени отца не знал, а знал только, что мать звали Дуня, бабушку — Вера, а деда в семье звали Старый. Отчество и фамилию дали ему от какого-то солдата, не то санитаря, не то кашевара, при котором он кантовался, пока не был отправлен в тыл. Ну и спасибо неведомому Сергею Волошину, пускай земля ему будет пухом. И уж если говорить об именах, то раз Ким признался мне, что по-настоящему звали его Клим (в честь Первого Маршала, надо полагать), но, когда его спрашивали, он ещё весь трясся и пропускал буквы, так и получился у него Ким вместо Клима, так и записали...

А родом он был откуда-то с юга, то ли из Батайска, то ли из Ростова. Отец сразу же ушёл на войну и сгинул, во всяком случае, у Кима о нём не осталось никаких воспоминаний. Когда немцы подошли к городу, мать подхватила сынка и перебралась к родителям. Надо полагать, куда-то неподалёку. Уже через несколько дней немцы без боя ворвались в это местечко и помчались дальше. На восток, на восток! Нах Сталинград!

Об оккупации у Кима особых воспоминаний не сохранилось. Кажется даже, что это было самое сладкое время в его маленькой жизни. Дед Старый и баба Вера души в нём не чаяли, картошки со сметаной, яиц и морковки было предостаточно, обширный двор и садик были в его полном распоряжении, вот только мать чахла день ото дня... Потом наступила та страшная зима, когда война взялась за него по-настоящему.

Вероятно, местечко это имело важное стратегическое значение, иначе чего бы две самые могучие армии в мире топтались на нём несколько дней (часов? недель?), гремели, бабахали, лязгали над головами двух стариков, молодой женщины и ребёнка, в ужасе зарывшихся в кучу картошки на дне погреба? Метались по земляным стенам охваченные паникой крысы, изобильно сыпалось с потолка, и всё тряслось в кромешной тьме... Выдалась тихая минутка, и дед Старый ползком вскарабкался по земляным ступеням и осторожно выглянул наружу, и сейчас же снова скатился вниз и сообщил, что хату разнесло до завалинки, а на месте сортира навалены грудой то ли мешки какие-то, то ли тела. Затем загремело, забухало, залязгало опять, да ещё и сильнее. Мать легла на Кима, прикрыв его своим немощным телом, баба Вера громко читала молитвы, дед Старый кряхтел и ворочался во тьме, всё старался зарыть любимых людей поглубже в картошку, а маленький Ким лежал, притиснутый телом матери, задыхался и ходил под себя... И тут снаружи вышибли дверь погреба и вбросили гранату.

Немец? Наш? Какая разница! Треснула взломанная дверь, погреб озарился серым светом, затем со стуком упало рядом, покатилося и грянуло. Целую вечность Ким лежал под трупами тех, кто мог им интересоваться. Потом ещё одну вечность он выбирался из-под этих трупов. Он выбрался, залитый кровью и испражнениями, сполз на земляной пол и завыл. Он выл и никак не мог остановиться. Он не помнит, как пришли, как вытащили его наружу, смутно припоминается ему, как кто-то плачет над ним, кто-то матерится люто, потом его мыли и оттирали, и кто-то голый, стриженный ступеньками, лил на него нестерпимо горячую воду и надирал жёсткой мочалкой. И вот он оказался чистенький, в подшитой, но всё равно непомерной солдатской форме, с брезентовым ремнём и погонами, в громадных ботинках, набитых ветошью, в настоящих обмотках, толсто намотанных на его тощие ноги, и он был под опекой славного санитаря-кашевара дяди Серёжи и мчался со всей армией на запад, на запад, на Берлин!

До Берлина он не домчался, а оказался вдруг в эшелоне, в телятнике, набитом такими же возгрявыми бедолагами, котелок замечательно вкусной пшёнки с говядиной (на двоих в

сутки), буханка хлеба, тоже замечательно вкусного (на пятерых в сутки), Новоизотовск, распределитель, Ташлинск. Всё.

#### 4

*Союзные моряки стали жаловаться, что, сойдя на берег после арктических тягот, они у нас лишены женской ласки и оттого могут ненароком исчахнуть. Тогда горько обратился к комсомолкам в возрасте от семнадцати до двадцати лет с предложением порадовать нашим славным товарищам по оружию. Те, конечно, порадовать не отказались. Что делать, времена тяжёлые, а тут тебе и консервы, и шоколад, и виски, и чулочки. Однако когда война закончилась, их всех объявили изменниками Родины, погрузили на баржи и потащили в открытый океан. На остров Сальм, как им объявили. Но до острова Сальма их не дотащили, а потопили из-под воды торпедами. Светило красное полуполночное солнце, белело небо над далёкой кромкой вечных льдов, океан был как зеркало, и до самого горизонта виднелись по воде женские головы русые, каштановые, чёрные...*

Одним из первых возвратился в Ташлинск мамин брат дядя Костя. И была при нём одна нога, одинокая медаль «За отвагу» на широкой груди, тощий сидор с нехитрыми пожитками да ещё великолепный аккордеон, который, по его словам (и я ему верю), он взял из подбитого им же немецкого танка.

Помнится, вечер был. Женщин к нам набилось великое множество. Варёная картошка и солёные огурцы высились на столе горами, и не было недостатка в самогоне. Нас с Кимом затиснули в угол, но в миски, что мы протискивали между женскими боками, накладывали не глядя, а нам того и надо было. Мы только перемигивались за спинами. Потом Фроська, толстая наглая девка, с самого начала липнувшая к герою, игриво осведомилась, отчего это на его широкой груди вроде пустовато. На неё зашикали, а дядя Костя, потрогав свою медаль и весь скривившись, очень внятно объяснил беспутной Фроське, что и куда дают Ваньке за атаку и за что дают Красную Звезду Тамарке. Все потупились, кто-то хихикнул, кто-то всплакнул. У Фроськи толстые щёки стали лиловые.

— Ладно, — произнёс дядя Костя. — Я вам лучше спою. Может, понятнее будет.

Он достал из футляра аккордеон и запел. Странная была песня, и мотив странный — не то марш, не то тоска предсмертная.

Справа танки, ребята, справа танки, друзья!  
Приготовьте гранаты, удирать нам нельзя.  
Эй, Серёжка с Павлушкой, мочи-сил не жалей,  
Накатите мне пушку на бруствер скорей!

У Серёжки-студента есть фляга вина.  
Не теряйте момента, осушайте до дна!  
На закуску узнаем, не пройдёт ещё час,  
Есть ли небо над раем или морочили нас...

Против гадов с крестами — что мои «сорок пять»?  
И снаряды мы стали, словно мёртвых, считать...  
И остался у пушки я один бить отбой.  
Спи спокойно, Павлушка, я иду за тобой.

Тишина стала в хате. И вдруг мой Ким забился рядом со мной, выронил миску и, то ли

хохоча истерически, то ли икая, принялся бессвязно выкрикивать:

— Колоть их!.. С крестами, без крестов... всех! На мелкие куски! Чтобы ни одного!.. Вдребезги их! В мясо-кровь!..

Он захлебнулся криком и стал закидываться, словно бы стараясь прижать затылок к лопаткам. Женщины подхватили его, принялись дуть в лицо, лить воду через стиснутые зубы. Дядя Костя спросил брезгливо:

— Это ещё кто?

Мама торопливо объяснила: Лешкин-де дружок, детдомовец а больше ничего не объясняла, но дядя Костя и без того понял. Он опрокинул стопку, закусил огурец и пробормотал, плюясь семечками:

— Оттуда, значит... Ну, что с пацана возьмёшь, и не такие заваливались... — И добавил совсем по-горьковски: — А, песню он мне всё-таки испортил, чтоб ему...

И вскоре получился ещё один случай. Вернулось ещё несколько изувеченных, и приладились они собираться у нас, выпивать и петь свои дикие и страшные песни. Мама только вздыхала, но ведь не гнать же их... А уж мы с Кимом слушали во все уши. И вот запели они раз особенно дикую и страшную:

Мы инвалиды, калеки, убогие,  
Мы все огрызки Великой войны,  
Но унывают из нас лишь немногие,  
Мы веселиться, петь и пьянствовать должны!

Так, инвалиды, пей и веселись,  
На крыльях водки подымаясь ввысь,  
Пускай гремит наш хриплый, жуткий смех  
Нам веселиться, право же, не грех!

Кто не слышал с вонючих коек стонов раненых,  
Кто не смотрел смерти прямо в глаза,  
Тот удивится, увидев нас пьяными,  
Но так смеяться не сумеет никогда!

Так, инвалиды, пей и веселись...

И всё. И смолкла внезапно песня. Взвизгнул в последний раз аккордеон и тоже смолк. Тяжесть стеснила мою душу, глаза застлало слезами. Увечные молчали, скорбно и растерянно переглядываясь. У Кима же всё лицо стало мокрым от пота, выпученные глаза закатились под лоб, и он медленно сползал со скамьи на пол. Минуту спустя инвалиды, так и не сказав больше ни слова, подхватились и вышли. Вот такое было происшествие.

Может, с этого всё и началось? Первая ласточка? Не нем. Знаний не хватает, а врать не хочу. Да и давно это было.

Впрочем, тут вернулся и отец мой, гвардии капитан, живой и относительно невредимый, и инвалиды перестали у нас собираться.

## 5

*Ещё бабка поучала: «Как попил, ведро доской закрыл, ковшик на доску, гляди, ложки кверху доньшком. А кнuzu доньшком положишь если, гляди, беси в него насерут...»*

В классе, кажется, шестом дорожки наши с Кимом разбежались. В Ташлинске открылось ремесленное училище, и Ким сразу поступил туда учиться — то ли на слесаря по

ремонту чего-то сельхозтехнического, то ли на токаря по выточке запчастей. Вообще в тот год школа наша на треть опустела: у большей части ребят повыбило отцов, а в училище как-никак питание, форма и даже приработки — крошечные, конечно, но всё же живые деньги.

Ну и вот, мы почти перестали встречаться, тем более что училище располагалось на другом краю Ташлинска и вовсе на другом берегу нашей славной речушки Ташлицы. А время бежало, и летели месяцы и годы, и Усатый перекинулся, как у нас говорили, и Кукурузник на трон взгромоздился, и я невинность потерял у одной развесёлой вдовушки, а Ким едва не угодил под суд за злостное хулиганство, и сделалось нам по семнадцати-восемнадцати, и вылупились мы из наших альма-матушек. И тут мы окончательно потеряли друг друга из виду. На несколько лет потеряли, и я, например, просто забыл о существовании прежнего своего приятеля Кима Волошина.

Мне удалось сачкануть от армии. Каким образом — не хочу выдавать секретов, да и речь не обо мне. Достаточно сказать, что своевременно оказался я в Томском медицинском институте и засел в нём на пять полных лет, и страха ради иудейска даже на каникулы не появлялся дома. А потом появился в качестве врача «скорой помощи». И только тогда совершенно случайно узнал, что Кима в Ташлинске нет, ибо приключилась с ним история без малого сказочная.

Поведал мне её механик из бывшей машинно-тракторной, а ныне ремонтно-технической станции, которого довелось мне пользоваться от приступа стенокардии. Оказывается, Ким тоже не попал в армию. Но его просто признали негодным, выяснилось, что у него порок сердца — скорее всего, приобретённый. Забегая вперёд, скажу, что убедился в этом самолично, когда случилось мне десяток лет спустя его обследовать. Точно, ревматический митральный порок. Выйдя из военкомата, он незамедлительно двинулся в «Сельхозтехнику» и уже через день гремел железом в МТС под чутким руководством моего механика.

Работал он неплохо, находчиво, но не слишком и утомлял себя, как, впрочем, и по сей день принято у сельских механизаторов. Но важно другое: Ким начал пописывать в нашу районную «Ташлинскую правду»! И никто в те времена об этом не подозревал, потому что свои заметочки-статейки он безлично подписывал как Рабкор, и под настоящим именем знали его только редактор, ответственный секретарь да кассир.

Я не поленился провести вечер в городской библиотеке над подшивками. Старушка библиотекарша сама и не без гордости отыскивала мне опусы Кима. Ничего особенного, всякое там «Цветёт земля ташлинская», «Верните рабочим душевую», «Куда смотрит столовая комиссия?». Но для доморощенного газетчика не так уж и слабо. Кстати, со слов библиотекарши выяснилось, что Ким был у неё завсегдаем. Не реже раза в неделю приходил он и брал книги. Главным образом классику. От Белинского и Гоголя до Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Собственно, больше и брать было нечего, брошюры и всякие там бубенновы-ажаевы...

Эта газетно-машинно-ремонтная идиллия, изредка нарушавшаяся скандальчиками в общезитии (жёл электричество допоздна), тянулась у Кима почти четыре года. А потом появилась она.

Она — это Нина Востокова, двадцати лет, студентка Московского института журналистики и единственная дочь Николая Васильевича Востокова.

Николай Васильевич Востоков — русский советский литературовед, профессор, весьма известный в известных кругах специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина, а также один из достаточно гласных руководителей Московского института журналистики.

Нина Востокова прибыла в наш огромный Ташлинск на практику. Вероятно, ей ничего не стоило устроиться в любой газете первопрестольной, но то ли профессор счёл, что дочке пора нюхнуть провинции, то ли сама она настояла на этом, но только в один прекрасный день она появилась в протабаченном кабинетике редактора нашей районки. Встречена она

была с надлежащим вниманием, выразила приличествующую радость по поводу встречи и надежду на помощь со стороны столь опытных коллег, но, что делать, не смогла скрыть по молодости лет простодушного превосходства своего над ними, и даже ещё менее лестных для них чувств. Коллеги обиделись, но обиды не показали, а просто свели её с рабкором К. Волошиным. Дескать, мы здесь тоже не лыком шиты, и зреют в толще наших читательских масс активные наши помощники, и мы их активно выискиваем и привлекаем к активному сотрудничеству. А вот из вас, милочка, ещё неизвестно, что получится.

Встреча с рабкором К. Волошиным произвела на заносчивую девочку огромное впечатление. У неё-то, как выяснилось, была за душой пока что одна-единственная записка в «Московском комсомольце», и та петитом, по пустячному поводу и без подписи, а этот работяга предъявил ей целый альбом с вырезками. Нина Востокова была изумлена. Она была восхищена. С папиной подачи она всегда верила в творческие возможности трудовых масс, но увидела творческую трудовую личность своими глазами впервые. И где! Во глубине башкир-кайсацких руд! Она, бедняжка, даже позавидовать не сумела. Она расцеловала Кима, расцеловала редактора и, не говоря ни слова, помчалась в горком комсомола. И весь свет узнал.

И конечно же, согласно всем законам этого жанра жизни они мигом влюбились друг в друга.

Вот как описал её редактор «Ташлинской правды», старый друг моего покойного отца и мой пациент. Не шибко красивая, смуглая, скуластенькая, крепенькая, всегда в выцветшей саржевой курточке, комсомольский значок, огромный нагрудный карман, из которого торчат блокнот с авторучкой.

— Суетливая, болтливая, — раздумчиво вспоминал он. — Идеалистка. Павка Корчагин, Олег Кошевой и всё такое. Энтузиастка. Глуповата. Разумеется, при таком папаше... — Тут он несколько неожиданно прервал себя, закричал и сообщил: — Что-то меня пучит сегодня. Не иначе как от молочной каши. Закормили меня этой молочной кашей...

Своевременно она отбыла к себе в столицу, а ещё примерно через месяц Ким получил уведомление о зачислении его на первый курс Московского института журналистики. Состоялась напутственная беседа в райкоме, состоялось тихое застолье у редактора, состоялась довольно безобразная отвальная в мастерских, и Ким Волошин уехал. И очень скоро был в Ташлинске забыт. Года два в райкомовских докладах продержалась фраза:

«Об уровне культурной работы в районе свидетельствует хотя бы тот факт, что один из наших механизаторов, Волошин К.С., проявивший себя в качестве постоянного рабкора нашей газеты, был замечен в Москве и принят без вступительных экзаменов на один из факультетов Московского института журналистики».

Но пришёл в райком новый Первый, и фраза эта нечувствительно выпала.

Так что, когда я вернулся в родную хату врачом «скорой», — имя Волошина было прочно забыто, да я и сам, признаться, вспомнил о нём только из-за случайной обмолвки моего пациента-мастера. Вспомнил и, натурально, заинтересовался, стал даже расспрашивать. А годы шли, интерес мой стал угасать, и я вновь и очень прочно забыл про Кима. Настолько прочно, что, когда снова встретился с ним, не сразу понял, с кем имею дело.

## 6

*Скоро, скоро мы ляжем  
К северу головой,  
Скоро, скоро укроемся  
Северною травой...*

К тому времени я уже несколько лет как оставил беспокойную, но столь необходимую для настоящего медика практику на «скорой помощи» и стал в нашей больнице терапевтом, причём ведущим, едва не вторым лицом после главврача. Как-то я дежурил, и дежурство, помнится, было спокойным, только вечером получился срочный вызов из РТС «Заря» на маточное кровотечение у женщины тридцати двух лет. Ночь была тихая, лунная, с небольшим морозцем. До «Зари» километров пятнадцать, так что я с лёгким сердцем отослал туда наш драндулет, ибо всегда считал, что лошадок наших надо поелику возможно беречь. После обхода я, как всегда, угнезвился в ординаторской, приказал дежурной сестре чаю, а сам занялся приведением в порядок своей довольно запущенной документации. Не тут-то было. Мой Вася-Кот (врач «скорой») позвонил из «Зари» и сообщил, что положение больной тяжёлое и он решил везти её к нам. Ну, дело привычное, я позвонил хирургу, он же гинеколог, он же уролог и прочая, разбудил его и велел явиться, затем распорядился насчёт операционной.

Через час её привезли. Как оказалось, её сопровождал муж, и это было кстати, потому что больная была в беспамятстве, а историю болезни надлежало заполнять. Все наличные силы мои были задействованы в смотровой, и историей болезни пришлось заняться мне самому. Я вышел в «предбанник»; на драном диване сидел там, уткнувши лицо в ладони, мужчина в потрёпанном костюме, на полу возле него неопрятной грудой громоздились тулупы, невзрачных расцветок платки, ещё какое-то тряпье. Поверх валялись скомканные, окрашенные кровью то ли полотенца, то ли разорванные простыни.

— Вы — муж? — спросил я громким деловитым голосом.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Лицо у него было узкое, обтянутое, желтоватого цвета, светлые волосы острижены наголо, из-под щетины виднелись зажившие шрамы, и широкая чёрная повязка пересекала это лицо и череп, закрывая левый глаз. «Билли Бонс», — промелькнула у меня ненужная мысль.

— Да, — сипло отозвался он и воздвигся. Был он высок, немного выше даже, чем я, но невероятно худой. До болезненности. И ещё я механически отметил, что на потрёпанном пиджаке его не хватало пуговиц. И что под пиджаком у него сероватый свитер грубой вязки с растянутым воротом.

Я завёл его в ординаторскую, усадил на табурет перед собой, достал бланк и отвинтил колпачок авторучки.

— Имя? — спросил я.

— Моё? — спросил он и прокашлялся.

— Нет, пока не ваше. Имя больной.

— Да, конечно, извините. Имя — Волошина Нина Николаевна.

— Год рождения?

— Тридцать девятый.

— В браке?

— Да. Со мной. Больше десяти лет.

— Беременна?

— Нет. Нет-нет. Точно — нет.

Он заёрзал на табурете, устраиваясь удобнее, и положил перед собой на стол сцепленные руки. Огромные мосластые конечности, окрашенные вьевшейся ржавчиной и машинным маслом. Что-то было с ними не в порядке, с этими конечностями, но приглядываться я не стал. Я положил ручку и спросил:

— Что с нею случилось?

— Точно не знаю, — ответил он звонким голосом, и я понял, что он на грани истерики. — Наверное, подняла что-нибудь тяжёлое, не под силу. У нас там в бараках... Да вы вот что, доктор. Отметьте: в шестьдесят пятом у неё был выкидыш на нервной почве, и потом она на учёте... Да, и ещё у неё резус отрицательный.

— Так. А на каком учёте?

— Психиатрическом. Два года в психушке сидела.

Я записал и снова посмотрел на его лапы. Вот оно что... На правой руке не было безымянного пальца. Культияпка, почти под корень.

— Так, — сказал я. — А прежде у неё такие кровотечения были?

Он не успел ответить. Дверь приоткрылась, просунулась дежурная сестра и деловито произнесла:

— Алексей Андреевич, вас срочно.

Я встал.

— Вы здесь посидите, — сказал я. — Подождите минутку.

Я уже знал, в чём дело. За дверью сестра подтвердила шёпотом:

— Умерла...

В смотровой уже было пусто, только хирург мылся над раковиной в углу. Когда я вошёл, он повернул ко мне виновато-агрессивную физиономию и пробубнил:

— Ничего не получилось. Клиническая.

Я подошёл к столу. Она лежала на спине, вытянутая во весь невеликий рост, голая, серовато-голубая, до изумления тощая, так что все рёбрышки проступали сквозь кожу, и коленные мослы не давали сомкнуться прямым, как палки, бёдрам, и светло-коричневые пятаки плоских сосков казались нарисованными на ребристой поверхности груди. Глаза были закрыты, личико с кулачок было совершенно кукольное, синеватые зубы сухо блестели меж полуоткрытыми белыми губами, и роскошные чёрные волосы, разбросанные по изголовью, были пронизаны седыми прядями...

— Как её фамилия, Алексей Андреевич, не знаете? — спросил хирург, присев у столика и раскрывая блокнот.

— Кажется, Волошина, — машинально пробормотал я. — У меня там записано...

Я ещё не договорил, когда сумасшедшая, но точная догадка озарила меня, и я внезапно понял, чей это труп лежит передо мной и кто дожидается меня в ординаторской. Никогда я не понимал и не пойму, наверное, как работает подсознание. Мало ли Волошиных на свете? И ничто не было столь далеко от меня той январской ночью, как Ким Волошин, и никто не мог меньше напомнить мне о Киме, чем тощий человек в пиджаке с оторванными пуговицами, с чёрной повязкой через глаз, с изувеченной рукой...

— Что? — спросил я.

Сестра стояла с простынёй в руках и вопросительно смотрела на меня. И хирург смотрел на меня с любопытством.

— Да, — произнёс я нетвёрдо. — Конечно. Вывозите.

Сестра накрыла труп, отступила от стола и перекрестилась.

— Алексей Андреевич, — сказал хирург, — а как насчёт анамнеза? Говорят, с нею муж приехал, хоть бы с его слов составить...

— Я сам, сам, — проговорил я поспешно. — Это я сам. А ты пока набросай диагноз и прочее, потом впишешь...

Я стиснул зубы и вернулся в ординаторскую. Когда я вошёл, он поднял голову и уставился на меня своим единственным глазом. Я глотнул всухую, медленно обошёл стол и сел напротив него. Затем проговорил, глядя в сторону:

— Вот, значит, как. Такое, понимаешь, дело, Ким...

Он перебил меня. Голосом чуть ли не деловитым.

— Умерла?

Я кивнул и стал торопливо объяснять, что подробности покажет вскрытие, могло бы помочь переливание крови, она потеряла массу крови, но у неё же резус, ты сам знаешь, а такой крови не то что в Ташлинске — в Ольденбурге, пожалуй, не найти, а то и в самой Москве.

Он слушал, не перебивая, прикрыв глаз тяжёлым тёмным веком, а когда я, запыхавшись, умолк, подождал несколько секунд и сказал:

— Не надо оправдываться, Лёшка. Ничто бы её не спасло. Ни Ольденбург, ни

Москва... Не сегодня, так послезавтра бы, всё равно. Отмучилась бедняжка.

Я сейчас же полез в тумбочку стола, извлёк ёмкость со спиртом и стакан, налил граммов сто, долил водой из графина и протянул ему.

— Выпей, Ким.

Он усмехнулся деревянно:

— Ну, раз медицина не против...

Он залпом выпил, вытер заслезившийся глаз, а я, суетясь, развернул прихваченные из дома бутерброды.

— Закуси.

Он отломил корочку, понюхал и стал жевать.

— В сущности, — произнёс он почти рассудительно, — она была давно уже обречена. Любовь, доброта, великодушные — они жестоко наказываются, Лёшка. Жестоко и неизбежно.

Я разозлился. Должно быть, уже пришёл в себя.

— Это всё философия, Ким. По три копейки за идею. Но как она дошла до такого состояния? Ты что — голодом её морил?

Он медленно покачал головой.

— Это история долгая, Лёша. А в последнее время Нина почти ничего не ела. Не могла. Ничего в ней не держалось. Пытался наладить её к медикам. Ни в какую. Там в бараке бабы пытались лечить её насильно. Ворожей каких-то позвали, знахарок... травки, настойки, заговоры... Очень её любили. Да ничего не вышло, как видишь. Она же психическая была, что ты хочешь...

Он постучал пустым стаканом по ёмкости со спиртом. Я налил. Он выпил и отколупнул ещё одну корочку, стал жевать через силу. Вид у него сделался задумчивый.

— И давно ты здесь? — спросил я.

— В Ташлинске? Да не так уж чтобы... Прошлым летом мы приехали. Слава Богу, в бараке сразу комнатку дали, мыкаться не пришлось.

— А я и не знал, — проговорил я и добавил неискренне: — Так ведь не всё же время ты в этой «Заре» околачивался, в город, наверное, не раз набегал... Чего же ко мне не зашёл?

— А зачем я тебе? — спросил он равнодушно. — И ты мне... Конечно, если бы тётя Глаша была жива... (Покойную маму мою звали Глафира Фёдоровна.)

— Не сразу узнал тебя, — промямлил я, чтобы что-нибудь сказать.

— А я так сразу.

Он взял ёмкость, налил полный стакан и залпом выпил и с клокотанием запил из графина прямо из горлышка. Вода полилась ему на грудь, и он, ещё не оторвав горлышка от губ, стал растирать её искалеченной рукой.

— Ну и будет, — сказал я решительно и спрятал ёмкость.

— Будет так будет, — вяло пробормотал он и прикрыл глаз тёмным веком.

Затем он сделался слегка буен и обильно слезлив, заговорил непонятно и бессвязно и вдруг на полуслове заснул, уронив голову на стол. Я кликнул сестру и Васю-Кота, и мы выволокли его на диван, устроив ему постель из тулупов и шалей. Во время этой тягостной процедуры он только раз отчётливо произнёс: «А что мне на неё смотреть? Я уже насмотрелся. И попрощались мы давно уже...» Произнёс и впал в глубокое беспамятство.

Утром его уже не было в больнице. Он исчез вместе со своими тулупами, да так ловко, что даже нянька не уследила. И Ким Волошин снова ушёл из поля моего зрения. После того дежурства мне пришлось отлучиться из города, и как раз в это время из «Зари» приехали на сани забрать тело на похороны. Говорили, был вполне приличный гроб, и было человек десять тепло укутанных женщин — вероятно, соседок Волошиных по неведомому мне бараку. Поезд из трех саней потянулся за Ташлицу на Новое кладбище, и говорят, первые сани, те, что с гробом, вёл сам одноглазый Ким, шёл впереди, тяжело переставляя ноги, ведя под уздцы заиндевшую лошадь. Похоронили Нину Волошину и, не возвращаясь в Ташлинск, уехали по правому берегу прямо на свою «Зарю».

Работы у меня, как всегда, было выше головы, и лишь иногда я вспоминал рассеянно и

недоумевал, как это могло случиться, что питомец прославленного Московского института журналистики очутился в мастерских заштатной РТС в глубокой провинции, а журналистка и дочка профессора Востокова нашла себе могилу в промёрзшей башкир-кайсацкой земле... И ещё испытывал я нечто вроде обиды на выскочившего вдруг из небытия Кима, который вполне мог бы мне всё сам объяснить, а вот не соизволил, ну и Бог с ним, насильно мил не будешь. Да и не желал я быть милым насильно.

В общем, из-за деловой текучки и этого ощущения лёгкой неприязни Ким, скорее всего, снова выпал бы из моей памяти, но тут произошло одно неожиданное обстоятельство.

Однако сначала я введу в рассказ ещё одного героя. Имя ему — Моисей Наумович Гольдберг.

## 7

*Летят по небу самолёты-бомбовозы,  
Хотят засыпать нас землёй, ёксель-моксель.  
А я, молоденький мальчишка, лет семнадцать,  
Лежу почти что без ноги.  
Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка:  
«Давай тебя я первяжу, ёксель-моксель,  
И в санитарную машину „стундербекер“  
С молитвой тихо уложу...»*

Был это в те времена наш несравненный прозектор, «лекарь мёртвых», талантливейший старик, неизбывная гроза новоявленных специалистов, сопляков, путающих перитонит с перитонизмом и забывающих в операционных ранах салфетки. Он умер в прошлом году, старый труженик и мученик, с закрытыми глазами и довольной улыбкой: должно быть, рад был уйти от кошмара, от фантастического дела Кима Волошина.

О прошлом его я знаю немного. Был он учеником и пользовался благосклонностью самого Давыдовского Ипполита Васильевича, главного патологоанатома Советского Союза. Того самого, добавляю для непосвящённых, который был инициатором и автором знаменитого Указа от 35-го года о обязательном вскрытии всех больных, умерших в лечебных учреждениях. Войну Моисей Наумович прошёл от звонка до звонка. Служа под знамёнами генерал-лейтенанта Кочина главным патологоанатомом армии, удостоился Красной Звезды и именного оружия за предупреждение возникшей в войсках эпидемии менингита, обнаруженной и блокированной им на основании материалов вскрытия. Надо полагать, отчётливая была работа.

После войны «Звёздочку» свою он, конечно, потерял, именной пистолет у него отобрали, а тут подоспели и настоящие неприятности, и Моисей Наумович стремглав покатился вниз. И докатился, на наше счастье, до Ольденбургского облздрава, который и стряхнул его в Ташлинск. И стал он патологоанатомом больницы, а также — по совместительству и по бедности нашей — судмедэкспертом. И все четверть века, всю оставшуюся жизнь, прожил в комнатухе, отведённой ему судебным ведомством (!) в так называемом районном пансионате. Впрочем, насколько я знаю, был он совершенно одинок, без единого родственника на всём белом свете.

Довольно долгое время были мы с ним в состоянии настрожённого нейтралитета. Но, слава Богу, никаких претензий к моей работе у него не случалось, и понемногу стал он захаживать ко мне домой — сыграть в шахматы, попить чайку, а то и отобедать. Я к нему привязался, а Алиса (жена моя) просто души в нём не чаяла. Но у нас с ним такие отношения сложились, повторяюсь, не сразу, а вот с так называемыми простыми людьми, в частности, со страдальцами, которых пользовала наша больница, он сходилась необычайно легко. Конечно, доброе слово для больного — великое подспорье, но не одни только добрые слова имелись в бездонном арсенале Моисея Наумовича. Его, «лекаря мёртвых» высочайшего класса, вызывали проконсультироваться в сложных случаях и к живым, — вызывали,

разумеется, те из моих коллег, что были постарше и поумнее. «Я — старый врач, Алексей Андреевич, — говаривал он мне с усмешкою. — А покойник — тот же больной, только в лекарствах больше не нуждается и в сочувствии тоже». Так или иначе, за четверть века своего служения городу он обрёл множество добрых знакомых, особенно людей пожилых, и его охотно приглашали на семейные праздники, даже и на крестины всевозможных внуков и правнуков («несмотря что еврей»), а уж на похороны и поминки — непременно. К слову, популярности ему немало прибавляло и то, что он никогда не волянил с выдачей родственникам усопших патологоанатомических справок, без которых, как известно, предание земле у нас категорически не допускается.

Вот пока и всё о Моисее Наумовиче Гольдберге, светлая ему память, а в тот день, в первое, кажется, воскресенье после похорон Нины Волошиной, мы с ним сидели у меня дома в кабинете и играли в шахматы. И вдруг задребезжал телефон.

## 8

*Вынесет всё — и широкую, ясную  
грудью дорогу проложит себе.  
Жаль только жить.*

Звонил старый знакомый, бессменный редактор нашей «Ташлинской правды».

— Алёша, — просипел он в трубку, — ты не очень занят?

Я осторожно ответил, что не очень.

— Тут у меня один товарищ, — сказал старик, — ему очень нужно поговорить с тобой. И срочно. Полчасика не можешь уделить?

Я ответил, что могу, пожалуй, но что я не один, у меня Моисей Наумович. Редактор хорошо знал Моисея Наумовича — он несколько раз выступал в газете на медицинские и гигиенические темы.

— Моисей Наумович? Это прекрасно. Так мы к тебе идём.

Я с сожалением взглянул на шахматную доску и ответил, что жду. Деликатнейший Моисей Наумович сорвался было уйти, но я свирепо его остановил. Ещё чего! Чтобы в мой законный выходной в моём собственном доме моих друзей — и так далее.

И они пришли.

К моему удивлению, товарищ оказался симпатичной шатеночкой лет тридцати, румяной с морозца, с милыми ямочками на щеках, одетой, я бы сказал, по-столичному. Оправившись от секундного шока, я кинулся освобождать гостью от роскошной меховой шубки. Шатеночка действительно оказалась приезжей из столицы, журналисткой по имени Екатерина Фёдоровна. Тут и Алиса моя вышла в прихожую, и запахло уже не полчасиком, а банальным нашим гостевым чаепитием часа на три. Всех загнали в столовую и рассадили вокруг самовара. Я взглянул на Моисея Наумовича: вид у него был благодушный и даже довольный — во-первых, он любил чаёвничать, а во-вторых, партия была отложена в тяжёлом для него положении. Я едва удержался, чтобы не хихикнуть.

Но едва смолк звон ложечек, размешивающих сахар, Екатерина Фёдоровна, как-то вдруг помрачнев, спросила меня, правильно ли ей сообщили в больнице, что я присутствовал при смерти Нины Волошиной и говорил с её мужем. Игривость, овладевшая мною, тут же пропала, и я осведомился, почему её это интересует. Старый редактор пустился было в заверения, что всё здесь, дескать, в порядке, но Екатерина Фёдоровна остановила его движением белой ручки и сказала, что всё объяснит сама.

Оказалось, была она старинной, ещё институтской подругой покойницы и дружила также с Кимом. Когда случилась катастрофа, она всеми силами поддерживала Нину, она даже взяла её к себе жить, хотя это было, сами понимаете, довольно рискованно, и они расстались только в середине прошлого года, когда Ким вернулся и увёз её сюда, в Ташлинск. В прошлый понедельник она получила от Кима телеграмму, сразу кинулась на

самолёт, однако вылет задержался из-за погоды, и на похороны она опоздала. Вчера она была в «Заре» у Кима. Как всегда, рассказать толком он ничего не пожелал, но кое-что рассказали соседки, очень милые и добрые женщины, так что по возвращении она сразу же направилась в больницу, и там одна очень милая особа, видимо медицинская сестра, любезно вывела её на меня...

— Ведь это вы дежурили в ту ночь, Алексей Андреевич?

Я не отрицал.

Однако обратиться прямо ко мне она не сочла удобным. Мало ли как я мог отнестись к ней, если бы она свалилась как снег на голову. И она прибегла к помощи собрата-журналиста, у которого Нина в своё время — как давно это было! — проходила практику. Нина всегда отзывалась о нём с восхищением. (Лик нашего старичка идёт багровыми пятнами от похвалы, скорбно опущенные углы губ произвольно приподнимаются. Моисей же Наумович вне себя от восхищения.) Она изложила редактору свою просьбу, и вот она здесь.

Всё это она выразила отточенными и литературно закруглёнными периодами. Мне пришла в голову мысль, что выступление своё она продумала и подготовила заранее. И ещё одно было ясно: она считала, что мне хорошо известны обстоятельства, выбросившие Волошиных из Москвы в захолустный Ташлинск, обстоятельства, видимо, не просто трагические, но и зловещие.

В самом деле.

Что это за катастрофа, постигшая Кима и Нину?

Почему дочка профессора Востокова вынуждена была переселиться к подруге, даже и ближайшей?

Почему переселение это было сопряжено с риском для подруги?

Откуда вернулся Ким в середине прошлого года?

Не такой уж я был дурак и мамкин сын, чтобы не возникли у меня некоторые подозрения. Я кашлянул и сказал:

— Ну-с, так. И чем я могу быть вам полезен, Екатерина Фёдоровна?

— Собственно, — проговорила она, — мне бы очень хотелось знать, во-первых, как Нина умерла. И второе, не говорила ли она что-нибудь перед смертью. И если говорила, то что именно.

Тут неожиданно вступился Моисей Наумович. Сухим протокольным голосом он сообщил, что Нина истекла кровью, она была до предела истощена, её привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она скончалась не приходя в сознание. Так что говорить она ничего не могла.

Екатерина Фёдоровна часто-часто закивала.

— Да-да, я так и поняла со слов той медсестры. Я просто хотела... И вот ещё что. Мне сказали, что вы разговаривали с Кимом. Не могли бы вы изложить... Мне он ничего не рассказал, но, может быть, вам...

— Минуточку, Екатерина Фёдоровна, — сказал я, собравши в единый кулак всё своё нахальство и всю свою бесцеремонность. — Я всё-таки позволю себе попросить у вас некоторые разъяснения. Я охотно расскажу вам о нашей беседе с Кимом, но сперва мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства. Вы намекали на них в начале разговора, но... Может быть, мой старый друг знает что-либо об этих делах?

Старый редактор поспешно, затряс головой:

— Ничего, Алёша, ровно ничего!

— Вот видите, ему тоже ничего не известно. (Я не был в этом уверен, но не пронзая же мне было его пронизательным взглядом, и я понёсся дальше.) Сами посудите, Екатерина Фёдоровна. Здесь расстались с Кимом десять... нет, все двенадцать лет назад, проводили его в новую жизнь, успешную и завидную, в столицу, в престижную профессию... да ещё под крылышко привилегированного лица.

Я отхлебнул остывшего чая и перевёл дух. Все смотрели на меня. Мне показалось, что

Моисей Наумович поощрительно мне подмигнул.

— Да... И вдруг неделю назад он появляется у меня в больнице в самом непрезентабельном виде, изрядно изувеченный и с полумёртвой женой, и оказывается, что он здесь уже более полугода... А сегодня появляетесь вы и намекаете на какие-то катастрофы, и вам позарез (иначе бы вы не появились) нужно узнать, что сказала Волошина перед смертью и о чём я разговаривал с Кимом. Воля ваша, Екатерина Фёдоровна, извольте объясниться.

Я замолчал. Она с изумлением посмотрела на меня, затем на редактора и снова на меня.

— Вы что же, — запинаясь, проговорила она, — вы действительно не знаете, что с ними было?

Я молча покачал головой. Она опустила глаза.

— Наверное, мне не следовало обращаться к вам, — сказала она.

Я пожал плечами, а Моисей мой Наумович мягко промурлыкал:

— Обратного хода нет, душенька. Вы слишком нас заинтриговали.

Тогда она подумала и решилась.

В Москве Волошины зажили спокойно и счастливо. Нина влюбилась в Кима как кошка. Поселились они в квартире профессора, в комнате Нины. Ким учился словно вол (в смысле упорства, конечно). Он много читал, в его распоряжении была ведь богатейшая библиотека тестя, и ему не приходилось выстаивать в очередях в Ленинку. И тесть гордился зятьком и, кажется, не раз упоминал его в беседах с институтским начальством. Пришла вожделенная пора, Нина получила диплом и поступила в «Советское искусство», а ещё через два года закончил и Ким и не без некоторой подачи тестя поступил в аспирантуру. Всё шло путём.

И вдруг Кима забрали.

Это было словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что ещё на четвёртом курсе он присоединился к «Союзу демократической молодёжи против правительственного произвола» (СДМПП, двадцать шесть человек). Выяснилось, что он был активным распространителем «Информационного листка», разоблачавшего противоправные действия КГБ, прокуратуры и партийной элиты. Выяснилось, что он участвовал в жутком заговоре против здоровья и жизни членов Политбюро. И завертелось следствие.

Нина кинулась к отцу, прося вступить. Но специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина был в бешенстве. Зятья он называл не иначе, как грязным антисоветчиком, вонючим предателем и змеёй, пригретой на его, тестя, груди. Колотя себя по залысому лбу, он кричал о волке, коего сколь ни корми, а он сожрёт вдвое и ещё харкнет тебе же в морду. И он потребовал, чтобы Нина немедленно подала на развод и тем самым смысла бы позорное пятно со славной фамилии Востоковых...

Нина не отреклась от Кима Волошина, и тогда отец отрёкся от дочери.

Нина ушла из дома, и Екатерина Фёдоровна приютила её у себя. Конечно, ей было страшновато, но страхи эти порождались не столько реальностями, сколько предубеждениями. Ведь Екатерина Фёдоровна нигде в штате не состояла, и её работодатели, если и было им что-либо известно, никак этого не показывали. Вдобавок разгорелся в ней некий азарт, ощутила она в себе некое чувство протеста. Расхрабрившись, она нагрязнула к Востокову и потребовала у него вещи Нины и даже часть имущества, заведомо принадлежавшего покойной Нининой матери. Востоков, осунувшийся, полинявший, не стал возражать.

А Нина металась по инстанциям, умоляла, писала бесчисленные слёзницы. С работы её, конечно, попросили, но она и не заметила этого. Бедняжка, избалованная благополучной жизнью, ещё не утратившая благородно-идиотских иллюзий, не переставала надеяться, что дело кончится благополучно. Тут в одночасье и рухнуло на неё зло.

Нина была беременна. В одной из самых высоких инстанций на неё грубо наорали с ударениями кулаком по столу и с множественным топаньем ногами. И у неё получился выкидыш. И она тронулась умом. И провела почти два года в сумасшедшем доме. Екатерина Фёдоровна навещала её там. Она сидела на койке, тихая, почти неподвижная, и истаивала,

как свеча. Потом её сочли выздоровевшей, и Екатерина Фёдоровна опять взяла её к себе. Работать она, конечно, больше не могла, да и никто бы не взял её на работу, и она вела их общее хозяйство, бесшумная и серая, как мышь... Материально, впрочем, всё обстояло благополучно: понемногу распродавались вещички, ещё довольно регулярно приходили анонимные переводы на небольшие суммы. При Нининых потребностях...

Но это о Нине. О жизни же Кима в то ужасное для Волошиных время Екатерине Фёдоровне известно немного и только в самых общих чертах. Он не любил вспоминать. Хотя иногда его всё же прорывало.

В следственном изоляторе (знаменитая Матросская тишина) ему выбили глаз. В первом лагере (Котлаг, Болотный мыс) за отказ выходить на работы «суки» отрубили ему долотом палец («Я его там сам и похоронил». — «Кого?» — «Да палец же...») Впрочем, собственный палец — это «кто» или «что?»). В третьем лагере (Ворлаг, Медвежья свадьба) в лютых драках на выживание ему сломали половину рёбер и измолотили голову палками. Один лишь Бог — или дьявол? — ведаёт, как ему удалось остаться в живых. С другой стороны, зная характер Кима, нетрудно предположить, что в долгу он не оставался. Как-то он вскользь упомянул, что года за два до освобождения (Сурлаг, Соплечистка) его оставили в покое («паханы распорядились, не иначе»), и он, по его выражению, смог слегка восстановиться.

Его освободили досрочно. То ли вина его была сочтена не столь уж великой. То ли угодили в немилость следователи, которые оформили его дело. То ли возымели силу ходатайства влиятельных родственников кого-то из его подельщиков. А скорее всего, шли какие-то таинственные процессы в системе карательных органов, и победившие спешили собрать побольше обвинений против проигравших, чтобы с новыми силами обрушиться на истинных, по их мнению, еретиков.

И вот он вернулся в Москву. Иссохшая, с провалившимися глазами Нина неуверенно коснулась пальцем его груди и проговорила: «Ты?» Он заплакал, прижал её к своей провонявшей телогрейке.

Нечего было и мечтать бывшему аспиранту устроиться в столице. Да и не хотел он оставаться в Москве. Он вспомнил, что был когда-то (давным-давно) неплохим механиком. Несколько дней беготни, несколько простынь анкет и заявлений, и они с Ниной отбыли по оргнабору в Ольденбургскую, тогда ещё Новоизотовскую, область, а здесь уже не составило большого труда определиться в Ташлинский район.

— Остальное вам известно, — заключила Екатерина Фёдоровна. — Лучше, чем мне.

Когда она замолчала, некоторое время никто не проронил ни слова. Алиса всхлипывала и промакивала глаза платочком. Старый редактор сидел, низко опустив голову. Моисей Наумович в задумчивости рассматривал свою чайную ложечку. Наконец я решился и произнёс осторожно:

— Это поистине примечательная история, Екатерина Фёдоровна, и все мы искренне благодарны вам... Но я по-прежнему не могу понять вашего интереса к последним словам несчастной Нины Волошиной и к моей беседе с Кимом. У меня секретов нет, и я готов передать вам эту беседу слово в слово, но если бы вы объяснились...

Она прервала меня:

— Нет. Меня больше не интересует эта ваша беседа. Но я объяснюсь. Видите ли, я приехала сюда не по своему желанию. Я, видите ли, жена Востокова. Мы поженились давно, ещё когда Нина содержалась в психушке...

Она поднялась. Мы тоже все встали. Я с напускным равнодушием пожал плечами. Взглянул на старого редактора. Ну конечно, он всё знал. Но какое мне дело? Екатерина Фёдоровна продолжала, держась за спинку стула:

— Собственно, я приехала по поручению мужа. Он очень болен, иначе приехал бы сам. Он хотел... Собственно, он хотел узнать, не вспомнила ли Нина о нём перед смертью. Видите ли, он уверен, что тоже скоро умрёт. Он очень боится некоторых встреч по ту сторону Вселенной. Психоз, конечно, но я не могла ему отказать. Я-то знаю, что Бог в бесконечном милосердии своём простит ему всё — и всем нам тоже... Спасибо большое за

угощение, мне пора.

И они ушли со старым редактором. Когда я, проводив их, вернулся из прихожей, Алиса мыла чайную посуду. Она вдруг спросила:

— А вы, Моисей Наумович, верите ли в Бога?

Мой «лекарь мёртвых» на секунду замер с посудным полотенцем в руках. Затем медленно проговорил:

— Наверяд ли, душенька Алиса Игоревна. Верю я в непостижимую судьбу — функцию темперамента, обстоятельств и поступков.

## 9

*От этого типа вечно несло противно-сладкими смрадами гниющих фруктов. Каперна ошибочно божилась, будто он потеет люизитом. На самом деле всё обстояло проще: у него сыпь какая-то была, и он обмазывался тёртыми яблоками и не смывал их по целым неделям.*

По прошествии времени я снова потихоньку забыл о Киме (как, наверное, и он забыл обо мне). Но тут возникло одно обстоятельство, о котором мне довольно подробно поведал старый редактор. Дело в том, что в «Ташлинской правде» обозначился кадровый кризис. Хотели обратиться за помощью в Ольденбург, но редактору пришла в голову счастливая мысль. Действительно, в двух шагах от города в груди неисправимо увечной сельхозтехники копошился ценнейший кадр — дипломированный журналист, да ещё ташлинец, да ещё выходец из рабочих, отчётливый гегемон... Отбывал по политическому делу? Но ведь освобождён досрочно. Не на кадры его прочим, не в политические руководители, а на скромную стезю литсотрудника всего-навсего... И вообще, столько лет прошло!

Дело выгорело.

Редакция была не очень далеко от больницы, и мы с Кимом стали встречаться на улице. Чаще всего он проходил мимо, удостоив меня кивка. Много реже останавливал меня и болтал о каких-то пустяках, но это уж при очень хорошей погоде. А в плохую погоду или в мороз проходил быстрым шагом, метнув мне рассеянный, неузнающий взгляд. Он слегка пополнел, всегда был скромно, но вполне прилично одет (положение обязывает), неряшливую чёрную тряпку через глаз сменил на аккуратную шёлковую повязку, тоже чёрную, но отливающую при некоторых поворотах зеленоватой искрой... Словом, простой провинциальный интеллигент. Должен сказать, что газетка наша при нём сделалась интересной, насколько может стать интересной районная газета.

А так тянулись год за годом ровные и довольно бесцветные районные будни, с понуканиями и безграмотным раздражением сверху и глухим, но устойчивым саботажем снизу, с постоянными недостатками и постоянным заунывным нытьём повсюду, с пьянством, хулиганством, бардаком. Как-то Ким зашёл в больницу и пригласил меня на новоселье. Отстоял очередь длиной в девять лет и получил однокомнатную квартиру в наших бедных «Черёмушках» за Большим Оврагом. Я пошёл, мне было любопытно. И несколько разочаровался. Ничего особенного. (А я уже тогда ждал от Кима чего-нибудь особенного.) В комнатуху набились газетные сотрудники во главе с редактором и с десятков старых приятелей Кима по мастерским. Много пили, съели колоссального гуся, несли чепуху и орали песни из старых кинофильмов. Я ушёл рано, и Ким меня не удерживал.

Но вот грянули всякие хренации, как говаривал Александр Галич. Все в Ташлинске всполошилось и затем замерло, прислушиваясь и осторожно озираясь. Принимались меры, чтобы старое стояло нерушимо. Возникали движения, имеющие целью стереть старое с лица земли. Нашего старичка редактора с фальшивым почётом отправили на пенсию, назначили (прислали из Ольденбурга) нового, и прошёл слух, будто новый чуть ли не в первый же день насмерть схватился с Кимом. Я эти слухи не проверял, некогда было, сам в это время сцепился с райздравом...

А затем пришло и двадцать шестое апреля 86-го года. Господь посетил нашу страну, и совершилась страшная трагедия Полынь-города. Информация о ней влилась к нам в Ташлинск тремя последовательными потоками очень разной чистоты: сперва совершенно лживая, затем туманно-неточная и, наконец, правдивая, из первых рук. Этим, третьим, потоком окатил нас внезапно Ким Волошин.

## 10

*И Он молвил в великой тоске: «Следовало бы всех вас, сволочей, уничтожить до одного, но я устал. Я ужасно устал».*

В разгар того лета Ким исчез из города. Отставной редактор мимоходом сообщил мне, что он взял очередной отпуск, а затем ещё месяц отпуска за свой счёт. Испросил телеграммой, и новый редактор с удовольствием внял этой просьбе. Но преждевременным было его ликование. Оказалось, что Ким провёл отпускные месяцы в Полынь-городе. И не на заработки он туда ездил, как клеветали потом на него, хотя деньги в Полынь-городе работягам платили немалые и даже огромные.

А Ким там вкалывал именно работягой. Ведь был он хорошим механиком и водил все виды автотранспорта. Отправляясь туда, он немного опасался, что его не примут из-за увечий, но сомнения эти оказались напрасными. У подножья гигантских развалин атомной печи никого не интересовало, целы ли у тебя оба глаза и все ли десять пальцев у тебя на руках. Вот тебе снаряжение, вот тебе противогаз, вот тебе бульдозер. И Ким все два месяца проработал бульдозеристом: то ли забивал там какой-то тоннель, то ли, напротив, тоннель расчищал.

Через неделю после возвращения Ким поверг к стопам нового редактора большую статью (или эссе?) «В Полынь-городе упала звезда». Редактор прочёл, ужаснулся и объявил, что только через его труп. Ким перенёс статью в райком на стол Первого. Первый ознакомился, вызвал к себе Кима и редактора и холодно осведомился, кто из них тронулся умом. Присутствовавший при этом районный идеолог, носивший полужначимую-полунонорвежскую фамилию Кнут, раздражённо заметил, что Ташлинскому району пока, слава Богу, нет дела до происшествий в иных республиках. Затем статья была швырком брошена Киму, рассыпалась по полу, и Ким довольно долго ползал по ковру на карачках, подбирая страницы.

Сейчас мне не совсем понятно, почему в тот день всё обошлось для Первого и Кнута, да и для нового редактора тоже. Потому, скорее всего, что ползавший на карачках Ким испытывал не возмущение и раздражение, а злорадство. Он уже знал, что сделает. Накладки бывают и в центральной прессе, о районной и говорить нечего. И уж кто-кто, а бывший аспирант института журналистики в накладках толк понимал. Так или иначе, в один прекрасный день, когда редактор отбыл на какую-то конференцию в Ольденбург, Ким исхитрился выкинуть из очередного номера нашей родной «Ташлинской правды» половину материалов и поместить на их месте статью «В Полынь-городе упала звезда», подписанную собкором К. Волошиным. И на следующее утро ташлинцы были приятно поражены.

Пересказывать здесь эту статью подробно не имеет смысла: сегодня нам известны подробности, может быть, и похлеще. И я ограничусь лишь теми, которые тогда особенно поразили моё воображение. Да и не только моё. Больница возбуждённо гудела, больные, сёстры, врачи рвали газету из рук друг у друга, посетителей нещадно гнали домой за газетой (у кого была подписка) или по немногочисленным нашим киоскам (где розницу разобрали уже к девяти утра). Надлежит тут ещё принять во внимание вечный информационно-сенсорный голод у нас в провинции...

Статья открывалась скверной по полиграфическим причинам фоторепродукцией некоего пропуска. Слева фотография три на четыре, всё честь честью, с чёрной повязкой через глаз. Пропуск № такой-то. В чёрной (?) рамке: ВСЮДУ. На право въезда в закрытую

зону. Организация: УС-60Б. ФИО: Волошин Ким Сергеевич. Срок действия (от руки): постоянно. Неразборчивая печать. Подпись под фото:

«Такой пропуск, упакованный в прозрачный пластик, спецкор носил на шнурке на груди».

Дальше следовали поразившие меня тогда факты.

У местных жителей новое времяисчисление: до войны (то есть до двадцать шестого апреля) и после войны (то есть после двадцать шестого).

По шоссе мчит автобус. На боках по-английски выведено: «Челленджер», а над лобовым стеклом трафаретка: «Подлежит уничтожению». Автобус полон пассажиров. И похолодевшие от ужаса встречные не сразу соображают, что уничтожению подлежат не пассажиры, а сам заражённый автобус.

На крышу пустого трехэтажного дома выскочил заросший бородой до глаз человек, весь в пыли и грязи. Выскочил и, кривляясь, запел диким голосом:

В Полынь-городе упала звезда,  
В Полынь-городе убитая вода.  
В Полынь-городе не стало можно жить,  
В Полынь-городе уж некого дожить...

И снова, и снова. Киму сказали, что никто не знает, что это за человек. Пытались его поймать и выдворить, но он бежит, как заяц, а гоняться за ним по крышам в противогазе никому неохота.

Бригада Кима жила в детском садике. Крошечные шкафчики, крошечная мебель. В углу навалом игрушки. Умывались, опустившись перед умывальниками на корточки или на колени.

Уже через месяц двоих работяг увезли. У них объявилась катаракта — помутнение хрусталика под воздействием ионизирующего излучения. Позже увезли ещё человек десять.

Вот такие факты. И ещё другие. И ненависть к начальству. К господам из инстанций. И в заключение — реплика Кнута:

«Ташлинскому району, слава Богу, нет дела до происшествий в иных республиках».

Как я понял, эту манифестацию мелкопоместного патриотизма Ким включил в статью в последнюю минуту, не преминув при этом назвать полностью ФИО и должность манифестанта.

Разумеется, на ведьму напали корчи. Кима вышибли из газеты. Сгоряча исключили из партии, но выяснилось, что Ким уже почти двадцать лет беспартийный. Разгорячившись ещё более, собрались подать на Кима в суд с каким-то нелепым обвинением, но получилось разъяснение, что поскольку К. Волошин уволен, то есть уже подвергнут крайней мере административного взыскания... и вообще, времена наступают странные... Лучше замять.

Замяли. Времена действительно наступили странные. Материально Ким не пострадал: денег, заработанных в Полынь-городе, ему на первое время хватило, а уж от заказов на ремонт личного автотранспорта ему отбою не стало. Но недалёк уже был день, когда события его личной жизни обернулись для нашего маленького городка совершенно ошеломляющим образом. Цитируя из одного моего любимого писателя:

«Последовательность событий была так стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам».

Мы с Моисеем Наумовичем не сразу сумели прочесть эти иероглифы, а когда прочли,

смущение и страх овладели нами. Причастность Кима выявилась для нас не сразу, да и вообще с точки зрения современной науки вряд ли может быть доказана, но всё же наступил момент, когда мы, движимые своими представлениями о гражданском долге, принялись искать истину — выявлять координаты Кима в пространстве и времени в момент свершения очередного «жестокого чуда». Много совпало. По нашему убеждению, совпало всё, а если покопаться, то открылись бы и ещё многие чудеса, имевшие место вне нашего поля зрения и зарегистрированные равнодушными чиновниками или вовсе не зарегистрированные...

Для нас, как я теперь понимаю, всё началось в осенний пасмурный день, первый осенний день того года, когда Ким был отлучён от официальной идеологии. Он явился в больницу и вошёл ко мне в кабинет, не постучав, когда ещё одевалась, побряхтывая и постанывая, одышливая бабка семидесяти с лишним лет. Я поднял голову от своей писанины, готовый разразиться раздражённой отповедью, взглянул и слегка обалдел.

— Господи... — произнёс я, неверным телодвижением поднимаясь из-за стола.

Такого я не ждал даже от Кима. Он был абсолютно лыс. Как бильярдный шар. Фиолетовые шрамы на его черепе выглядели так, словно кто-то вылил на него склянку с краской. И на свободной от чёрной повязки поверхности его лица тоже не было ни волоска. Ни ресниц, ни бровей.

— С-слушай, — произнёс я, — где твои волосы?

Он полез за пазуху, извлёк пухлый пакет и положил на стол.

— Вот, — сказал он. — Все здесь. Ну, может, несколько волосинок недостаёт.

Бабка выбралась наконец из ворота необъятного штапельного платья и тоже уставилась на Кима, распутив беззубый рот. Я спохватился.

— Ступайте, ступайте, бабуся, — проговорил я, взял её под локоток и подвёл к двери. — Я к вам потом зайду в палату. И скажите там в коридоре, чтобы пока разошлись и вернулись через часок...

Когда я вернулся к столу, Ким уже сидел и с хладнокровным интересом разглядывал меня.

— Ну, так, — деловито сказал я, усаживаясь. — Рассказывай. Как это произошло? Когда?

— Нынче ночью. Встаю утром, а вся моя роскошь на подушке осталась. Жаль, я себе такие кудри отрастил, можешь полюбоваться... — он ткнул пальцем в пакет на столе, — роскошные кудри. И нигде на всём теле ни волосинки не осталось. Ни под мышками, ни в шагу, ни на груди. Всё либо на простыне, либо в трусах...

— Раздевайся, — приказал я. — Догола.

Он разделся. Я убедился. И заодно слегка позавидовал: такой он был сухощавый, поджарый, мускулистый. Мы с ним одноклассники, а у меня грешное тело дрябловатое, жирненькое, никак не спортивное.

— Физкультурой занимаешься, — пробормотал я.

Он пренебрежительно отозвался:

— Физкультурой... С какой это стати? Что я тебе — пионер?

И вдруг вытаращил свой единственный глаз.

— А ведь и то верно, Лёшка! Заметил я, что худеть начал. Штаны стали сваливаться, пиджак как на вешалке... Значит, и это ещё...

— Ладно, — сказал я. — Пока не одевайся. Накинь вон мой халат.

Я позвонил нашему кожнику и попросил незамедлительно зайти. Пока мы ждали, я спросил, зачем он принёс ко мне свою волосню. Он осклабился:

— Как вещественное доказательство. Чудак, почём я знаю, что вам, медикам, может понадобиться?

Я кивнул согласно и развернул пакет. Лупы у меня не было, но и невооружённым глазом было видно, что волосы именно выпали, а не были, скажем, выдраны, и даже не столько выпали, сколько вылезли: дружно и одновременно. А тут и кожник явился. Ким

повторил ему свой короткий рассказ. Кожник похмыкал, осмотрел его и велел одеваться. Потом кожник взглянул на меня, а я взглянул на кожника. Кожник едва заметно приподнял и опустил плечи. Неожиданно Ким, натягивавший брюки, произнёс брюзгливо:

— Да вы не гадайте, доктора, не надрывайтесь. Я сюда не за диагнозом пришёл. Отчего это у меня — я и без вас знаю. Вы мне скажите, как лечиться!

Нелепость этого наглого выпада была очевидна. Во-первых, не поставив диагноза, врач не может сказать пациенту, как лечиться. Во-вторых... но и во-вторых, не может! Я буркнул недовольно в том смысле, что нечего зря языком трепать. Но кожник мой сообразил правильное.

— А вы, стало быть, знаете, отчего это у вас?

Ким, зашнуровывая ботинок, отозвался пренебрежительно:

— Ещё бы не знать... Полынь-город!

И я едва удержал мгновенный позыв гоголевского почтмейстера вскрикнуть и хлопнуть со всего размаху по своему лбу, назвав себя публично при всех телятиной. Кожник же, в два шага оказавшись возле Кима, проговорил с придыханием:

— Постойте. Вы — Волошин? Тот самый?

— Который? — неприветливо осведомился Ким, натягивая пиджак.

— Этот... который в газете... про Полынь-город...

— Ну?

— Рад познакомиться... — стеснённо проямлил кожник, слывший у нас вольнодумцем и диссидентом. — То есть не то что рад... Сожалею, конечно, что такие обстоятельства... — Тут он кашлянул, вернул себе профессиональный вид и сухо объявил: — Боюсь, Волошин, что в нашей больнице вам ничего не светит. У нас нет специалистов по радиационным поражениям.

Тут мой кожник был прав. Если судить, например, по мне, то уровень нашей осведомлённости в области лучевых заболеваний — я имею в виду районный медперсонал — вряд ли выше сведений из букваря для армейского санинструктора... или как они там называются.

Я уже сидел за столом и заполнял бланки.

— Пойдёшь и сделаешь все анализы, — приговаривал я на ходу. — Кровь, моча, кал, рентген... Большая часть лучевых поражений сводится к ослаблению иммунитета... Волосню твою на место мы, конечно, не водворим, но от дифтерита, дизентерии или какой-нибудь другой обычной гадости умереть не дадим.

Ким взял у меня бланки и повертел в пальцах.

— А если ничего такого не обнаружится?

— Тогда направим тебя...

— Куда?

Я замялся. Честно, я не имел представления — куда.

— Ну, например... — неожиданно произнёс кожник. Он достал записную книжку, полистал и прочёл: — «Москва, улица Щукинская, шесть. Шестая больница Третьего главного управления». Не возражаете?

— Ну вот, хотя бы и в Шестую, — солидно сказал я, скрывая изумление. — Оформим в райздраве, и счастливого пути.

— Москва, — произнёс Ким, усмехаясь. — Далеко целоваться бегать, однако...

Он кивнул нам и вышел. Я спросил кожника:

— Слушай, а откуда ты про эту больницу знаешь?

Он хихикнул.

— Секрет. Но не от вас, конечно, Алексей Андреевич. Там один мой друг работает. Сейчас он, правда, в Полынь-городе. Богатая, пишет, практика...

В тот же день вечером я рассказал всё это Моисею Наумовичу. Помнится, перед очередной партией в шахматы. Он скорбно покачал головой, вздохнул, но большого интереса не выказал. «Дрянь это — радиация, — пробормотал, помнится, он. — А слоника

вашего, Алексей Андреевич, я с удовольствием беру. При всём моём к вам уважении...»

Ни с анализами, ни с просьбами о направлении в Москву Ким Волошин не явился. Признаться, я не очень по нему скучал. Не мой он был пациент, и человек он был не мой. А о Моисее Наумовиче и говорить было нечего. Для него Ким был тогда всего лишь автор скандальной публикации.

Но примерно месяц спустя произошло событие, после которого моё представление о действительности пошло сначала неторопливо, а затем всё скорее и скорее переворачиваться вверх дном. Рассказ об этом событии я выслушал из первых уст: от секретарши нашего Первого. Причём в тот же день.

## 11

*Свят Георгий во бое  
На лихом сидит коне,  
Держит в руке копйё,  
Тычет змия в жопйё.*

Эта тощая востроносая дамочка была древнейшей приятельницей Алисы (кажется, ещё в детском садике на горшочках рядом сидели), тянула своё зрелое девичество, в компании с престарелой своей матушкой неподалёку от нашего жилища и частенько забегала к нам пошущукаться насчёт районного начальства, а покончив с этой волнующей темой, уединялась с Алисой в нашей спальне, где и предавались они, как я понимаю, специфическим разговорам, не предназначенным для грубых мужских ушей. Не могу сказать, чтобы она мне была противна, так, иногда смешила и слегка раздражала, сплетенки её временами были интересны, а уж в тот вечер я слушал её в оба уха, стараясь не пропустить ни слова.

Да и как было не слушать!

Началось с того, что сразу после обеда в свой кабинет быстрым шагом проследовал сам Первый, за ним по пятам Кнут, а за Кнутом, едва не наступая ему на задники, «этот самый, который так подвёл нас с газетой, Волошин»... «Представляете, я его едва узнала! Только по этой его чёрной повязке на глазу. Лысый, как чайник, физиономия голая, смотреть неловко, честное слово. И глаз сверкает! Поистине, Бог шельму метит...» В приёмной уже дожидались трое посетителей, все директора совхозов, они было вскочили, но Первый поприветствовал их взмахом руки и бросил на ходу: «Сидите, товарищи». И дверь в кабинет закрылась.

Как и о чём происходил у них там разговор за закрытой дверью, секретарша не знала. Минут через десять дверь распахнулась, и в приёмную вышли — сначала Волошин и почти сразу за ним Кнут. Волошин остановился у стола секретарши и опёрся на его край рукой без пальца. Кнут двинулся к выходу в коридор, но приостановился возле Волошина и произнёс негромко: «Вот так, Волошин. А будешь трепыхаться, возьмёмся за тебя по-настоящему. Тогда взвоешь». Сказавши это, он обычной своей неторопливой походкой пересёк приёмную и удалился. В приёмной воцарилась тишина, посетители старательно отводили глаза от Волошина, секретарша принялась перебирать какие-то бумаги. «Ей-Богу, товарищи, не знаю даже — какие. Всегда мне в таких ситуациях ужасно неловко. Двадцать лет там служу, а привыкнуть ну никак не могу, представляете?» И тут раздался звонок, призывающий её в кабинет.

Она вскочила. Тут надо отметить одно обстоятельство. Кнут известен был в райкоме тем, что вечно забывал закрывать за собой двери. Вот и тут дверь в кабинет он за собой только прикрыл, оставив изрядную щель, а дверь в коридор оставил нараспашку. Итак, секретарша на звонок вскочила и вдруг увидела, что один из посетителей устался на Волошина дикими вытаращенными зенками и откинулся на спинку стула, загородившись портфелем. Она тоже взглянула на Волошина. И ужаснулась. «Он был синий, товарищи!

Представляете? Синий, как покойник!» Глаз его налился кровью. Лысая голова втянулась в плечи, лысина покрылась обильным потом. Губы искривились, он прошипел несколько омерзительных слов, и его всего перекосило.

По словам секретарши, у неё от ужаса потемнело в глазах. «Будто тьма рухнула». И в этот самый момент из коридора послышался грузный грохот, словно упало что-то тяжёлое и объёмистое. И кто-то хрипло завопил. И совершенно как эхо из кабинета Первого донёлся пронзительный визг. В коридоре затопали и заголосили, а дверь кабинета распахнулась, и в приёмную буквально вывалился наш Первый. Он прижимал ладонь к щеке, между пальцами бойко стекали густые красные струйки. «Врача... — пробормотал он. — Немедленно... Врача!» Его качнуло. Посетители, оправившись от столбняка, кинулись к нему и, втащив обратно в кабинет, уложили на диван. Секретарша оказалась на высоте. Выхватила из шкафчика полотенце, смочила из графина и наложила на поражённую щёку. Затем, приказав посетителям держать и прижимать этот компресс, кинулась к телефону. «И представьте, товарищи, в „скорой“ уже знали! Машина уже выехала! Конечно, никакой мистики не случилось, а „скорую“ вызвали минутой раньше для Кнута, который сверзился с лестницы...»

А с Первым случилось такое несчастье. У него был любимый красно-синий карандаш, толстый, всегда остро заточенный с обоих концов. Когда Волошин и Кнут удалились, он взял этот карандаш, чтобы сделать пометки в перекидном календаре. И тут ему вдруг стало дурно. Он ещё успел дать звонок секретарше, потерял сознание и упал лицом вперёд. И карандаш пропорол ему щёку насквозь. («Хорошо, что не в глаз!» — простодушно присовокупила наша старая дева.)

Если судить по одновременности шумов и криков, донёсшихся из коридора и кабинета, Кнут пострадал в те же самые секунды. Он неторопливо поднимался по лестнице на третий этаж, снисходительно с кем-то беседуя, вдруг замолк на полуслове, слабо помахал руками и покатился по ступеням вниз.

Набежали врачи и санитары, прибыли чины из всяких органов, начались расспросы и допросы, в общем, кутерьма получилась страшная. Да и то сказать, буквально в одну секунду вышли из строя два руководителя райкома! Тут, дорогие товарищи, забегаешь.

— А что случилось с Волошиным? — спросил я, когда она, отговорившись, погрузила свой востренький нос в чайную чашку.

— С Волошиным? — переспросила она с удивлением. — А что — с Волошиным?

— Ну как же... Он же был в приёмной, когда началась вся эта, как вы говорите, кутерьма. Вы же рассказывали: синий, как покойник, весь в поту... Он тоже свалился? Ему-то оказали помощь?

Секретарша поставила чашку и поглядела на меня, затем перевела взгляд на Алису.

— Н-ну, откуда я знаю? Я о нём тогда и думать забыла... Все кричат, бегают, кровь хлещет... Если он и свалился, то отлежался, надо думать... А может, и его врачи пользовали, откуда мне знать? Не до него нам там было, товарищи дорогие...

Мысль о том, что Волошин тоже претерпел в этих странных обстоятельствах, не вызывала как будто сомнений, хотя смутная идея совершенно иного толка и возникла тогда же в голове моей, такой уж одиозной фигурой представлялся мне Ким, но идея эта была поистине сумасшедшей, и я поспешно погасил её, едва она всплыла в моё сознание...

— Ладно, барышни, — произнёс я, поднимаясь. — Вы здесь чирикайте и развлекайтесь, а у меня ещё срочные дела.

Я ушёл к себе и позвонил на работу. Дежурный врач оказался полностью в курсе и всю кипел ядовитейшим сарказмом. Ещё бы, одним махом два секретаря! Террористы не дремлют! Шашки наголо! Скальпели наизготовку! Примкнуть клистиры! Наш славный Первый: взялся за специально оборудованный карандаш, мгновенно отключился и очнулся с карандашом в щеке. Ещё и правый клык расшатал. Проверить карандаш на ядовитость, а пролитую на боевом посту кровь — на содержание алкоголя. Доблестный Кнут: давал на лестнице руководящие указания некоему замухрышке-завклубом, был оглушён порцией

нервно-паралитического газа и очнулся на нижней ступеньке со сломанной ключицей и с фингалом во лбу. Фингал явно экспортный, по спецзаказу. Оба пострадавших тщательно обслужены нашей передовой медициной: рана на щеке зашита, рука на перевязи, фингал оставлен дышать свежим воздухом. В настоящее время они сидят или лежат по домам. Больницу навестил некто компетентный, понюхал, поспрашивал и удалился с физиономией, на коей явственно читалось, что дело здесь нечисто. Ким Волошин? Да, упоминался. Мало того, создалось впечатление, что, с точки зрения компетентного товарища, он столбом возвышается над кучей прочих свидетелей. В больнице не появлялся, куда делся — неизвестно. Кажется, его разыскивают. И беда не приходит одна. Недавно позвонил хмырь, заведующий райторговским складом, и сообщил, что тоже чувствует себя неважно. Происками идеологических врагов посажен на гвоздь, порвал брюки, а может, и не только брюки, а может, и совсем не брюки. Послана «скорая помощь»...

В таком духе дежурный, бывший Вася-Кот и бывший врач «скорой», мог продолжать до бесконечности, но я ему мирволил, потому что врач он был талантливый. Я обозвал его пустобрёхом и положил трубку, и буквально через минуту мне позвонил Главный. Его, конечно, уже известили.

— Совпадения случаются, Алексей Андреевич, — рассудительно объяснил он мне, — двоих накрыло одновременно, хотя бы и таких значительных лиц, — то ли бывает! А помните, в прошлом году на стадионе подломилась сгнившая скамья? Тогда разом пятеро покалечились. Знаю, знаю, райком не стадион, и всё же не будем паниковать, Алексей Андреевич, не будем впадать...

Ну, я и не паниковал. Но оказалось, что я не люблю совпадений. Утром выяснилось, что и Моисею Наумовичу совпадения не нравятся. Расспросив меня в подробностях, он некоторое время молчал, тихонько трубя через губу, потом проговорил угрюмо:

— Всё-таки жаль, что нельзя поговорить с этим Волошиным.

Впрочем, вскоре выяснилось, что с Волошиным говорили. Мы бы об этом не узнали, если бы не С., тогда ещё лейтенант милиции, тот самый, по милости которого я сейчас сижу за машинкой. Он довольно регулярно полёживал у меня по поводу своего маленького сердца. Хороший был парнишка, благожелательный и в меру доверчивый, и завоевал он меня тем, что охотно развлекал криминальной хроникой Ташлинска.

Так вот, через несколько дней после события в райкоме он явился ко мне на «чек-ап», получил обычные уколы в обе ягодицы и сообщил по секрету, что компетентным товарищам всё же удалось разыскать Кима в тот же вечер. Он сидел у себя дома, пил с соседом бормотуху и ругался по-чёрному. Непрошеным гостям он объявил, что ежели секретарей стукнуло, то по заслугам, есть Бог на свете, а вот за что стукнуло его, Кима, он не знает и считает это упущением... Ещё из беспорядочной этой беседы выяснилось, о чём шёл разговор. Ким потребовал от райкома извинений за незаконное увольнение из газеты, восстановления на работе и денежной компенсации за вынужденный прогул. Ну и, конечно, где залез, там и слез.

А в скором времени случилась «собачья бойня».

## 12

*По-русски, проказа есть ужас и отчаяние, кошмар, предвещающий горе окружающим, гибель плоти, ощутившей мерзость свою. Но не только. Проказа есть ещё и радость, и наслаждение, озорство, не всегда приятное окружающим, веселие плоти, ощутившей избыток сил своих.*

И опять мы ничего не видели сами, факты били по нашим умам и нашим душам через свидетелей, через слухи, через примитивные фантазии и неразбериху самоуверенных мнений.

А впрочем, мало ли слухов спокон веку ползает по Ташлинску. В ту суровую раннюю

зиму, например, из уст в уста передавались достоверные сведения о том, будто из скотомогильника в девяти верстах от окраины по ночам вылезают то ли волки, то ли оборотни, воют на луну и жалуются человеческими голосами... А районная больница, как всем известно, была, есть и будет идеальным коллектором слухов. Больные, няньки, сёстры, посетители, часто даже и врачи наперебой обсуждают, кто на ком попался, введут ли талоны на водку, у кого была неприятная встреча на погосте, какую пакость учинил завмаг такой-то...

И вот странные слухи о «собачьей бойне» на Пугачёвке.

Надобно разъяснить, что Пугачёвка у нас улица старинная, бывшая некогда слободкой. Облика своего не меняла со стольпинских времён: прочно вросшие в землю избы с небольшими окошечками, которые на ночь закрываются крепкими ставнями, плетни и заборы, ветхие скамеечки у калиток, а сама улица довольно широкая, хотя, конечно, немощёная, и не в редкость ныне видеть возле некоторых домов грузовики, пригнанные шофёрами, либо отроду здесь живущими, либо снимающими углы.

И конечно же, за заборами и плетнями и просто на обочинах — несметное число собак, беспородных, ублюдковатых, часто беспризорных, постоянно озабоченных поисками продовольствия и развлечений.

Однажды примерно в час ночи шёл по середине Пугачёвки, поскрипывая снежком, слегка подвыпивший прохожий. Не было при прохожем ни палки, ни жердины, ни каких-либо иных средств увещевания, без которых не склонны выходить за околицы даже местные жители. Просто шагал себе по морозцу, слегка пошатываясь. И вот поодиночке, по двое, по трое стали выбираться из-под заборов, перепрыгивать через плетни и выскакивать из кромешной тьмы проулков всевозможные бобики, кабыздохи и лайки. Голов не менее двадцати возникло на улице и устремилось вслед прохожему, заливаясь злорадными и угрожающими кликами и приглашая всех желающих примкнуть к нападению.

Собравшись в стаю, собаки дичают и при малейшей провокации доводят себя до неистовства. Как люди, собравшись в толпу. Уши у них прижимаются, хвосты вытягиваются в полено, пасти оскालаются и начинают брызгать слюной. Как у людей, если говорить о пастях. Они действуют всё более нагло, наскакивают, забегают с флангов и спереди, а самые нетерпеливые вцепляются сзади в пятки и в одежду, чтобы заставить жертву побежать, а уж тут-то и начнётся самое главное. Весёлая погоня.

Как врач я не раз попадал на этой самой Пугачёвке в сходные ситуации, но меня жестоко отбивали родичи и соседи больного. Прохожий же был совершенно один и без оружия. Обнаружив себя в центре внимания, он остановился и повернулся лицом к супостатам. И моментально был окружён. Гам стоял несусветный, ибо нападавшие в два десятка глоток подзадоривали друг друга к самым решительным действиям. Прохожий попытался отбиваться ногами, но это только прибавило нападавшим азарта. Прохожий изловчился, поймал одного за шкуру и швырнул через плечо. Летящая псина, наверное, завизжала, но визга в гаме слышно не было. Уже прохожего рванули за полу и цапнули за пятку...

И вдруг наступила тишина.

Без всякой видимой причины собачий гам оборвался, как обрубленный. Без всякой видимой причины остервенение сменилось ужасом, и собаки молча брызнули во все стороны. Впрочем, не все. Около десятка кобельков и сучек остались лежать на снегу. Мёртвые. Или дохлые, если угодно. На улице был только один живой — прохожий. И стояла тишина, совершенно непривычная на Пугачёвке. Ни на что не похожая. Ни единого собачьего возгласа на километры вокруг.

С минуту прохожий стоял, слегка покачиваясь, над погибшими собачками. Затем громко и неприлично выругался, повернулся и пошёл своей дорогой. И он шёл уже вполне трезвой походкой, всё убыстряя шаг, и вскоре его не стало видно.

Примерно так изложила в ординаторской эту историю сестра-хозяйка Грипа, лучшая в больнице фольклористка-сплетница. Когда она закончила, бывший Вася-Кот, а ныне

Василий Дормидонтович завистливо воскликнул:

— И откуда такая чепуха берётся?

В ответ Грипа метнула в него лукавый взгляд, ясно читаемый как исконный девиз всех сплетников на Руси: «За что купила, за то и продаю, не любо — не слушай, а врать не мешай».

Моисей же Наумович, к моему изумлению, отнёсся к этой байке очень серьёзно. Оставшись со мною с глазу на глаз, он объявил, что дело надлежит тщательно расследовать, а именно — попробовать отыскать на Пугачёвке настоящих свидетелей. Стыдно признаться, но я и тогда ещё был слеп, а Моисей Наумович уже прозревал. Так ведь на то и был он старым и мудрым «лекарем мёртвых»... Я же, дурак, взорвался тогда:

— Да что вас встревожило, Моисей Наумович?

— Совпадения, Алексей Андреевич, совпадения... — неохотно и не совсем вразумительно ответил он.

Как и повсюду в городе, было у него несколько приятелей и приятельниц и на Пугачёвке. И через них он нашёл очевидцев. Оказалось их четверо. Доведённая до иступления мамаша, вышедшая из калитки с метлой в руках встречать непутёвую дочку, загулявшую у подружки. Возлюбленная пара, которой часа два было никак не расстаться у порога девичьего дома. И рабочий с молокозавода: ему что-то не спалось, и он вышел на улицу покурить.

— Он у бабки своей живёт, а она табачного духу не переносит.

— Почтительный внук, — заметил Моисей Наумович. — Не всякий выйдет курить на такой мороз...

— А будешь почтительным. Какую другую бабку он бы послал подальше да и дымил бы в избе в своё удовольствие. А эту не пошлешь, что ты! Она ведьма всем известная, он её пуще смерти боится. По струночке ходит, всю получку отдаёт...

Поговорить удалось лишь с двумя очевидцами. Прилипчивый ухажёр — из возлюбленной пары — проживал на другом конце города, а почтительный внук отбывал вечернюю смену. Зато показания мамаша и подружки ухажёра удручающе точно подтвердили тревоги Моисея Наумовича. Они различались только в мелочах и в общем повторяли байку, рассказанную нашей Грипой. Добавилась одна подробность: прохожий был в обширном тулупе до пяток и в огромной меховой шапке. И попутно выяснилось любопытное обстоятельство: нынче ни одна собачонка на Пугачёвке не появляется на улице и не лает, и даже свирепые цепные кобели во дворах не вылезают из своих будок... Напоследок Моисей Наумович спросил, что, по мнению очевидцев, произошло. Мамаша объявила, что собак развелось слишком чересчур много и их пора отстреливать, пока они детей рвать не начали. Девица же, несомненно, с подачи своего личарды, уверенно ответила, что таинственный прохожий выстрелил в собак из специального газового револьвера заграничного дела.

Посетив хату почтительного внука, Моисей Наумович был принят бабушкой-ведьмой, согбенной старухой, облачённой в основательно потёртое чёрное. Лик у неё, в соответствии с бытующими представлениями, был жёлтый и сморщенный, острый подбородок и загнутый клювом нос неудержимо стремились к встрече, передвигалась она, опираясь на отполированный десятилетиями шишковатый посох. И хотя передвигалась она довольно бойко, Моисей Наумович решил, что не бабушка она рабочему молокозавода, а по крайней мере прабабушка, а то и прапрабабушка.

Принят он был ласково и удостоен стаканчика ароматной горьковатой настойки. Ему даже показалось, что его ждали. Его попытка объясниться насчёт цели визита была сразу отмечена взмахом костлявой шафрановой руки.

— И не спрашивай, тебе всё правильно рассказали, — хриловатым тенорком произнесла бабушка-ведьма. — Я ведь хоть глазами не видела, а всё знаю. Так бы и я смогла бы с собаками, с бессловесными, да и с людишками тоже. И могла когда-то, а сейчас уже не могу, косточки ноют, к земле клонят...

— То есть что же именно могли? — спросил несколько сбитый с толку Моисей Наумович.

Старуха пристально на него поглядела.

— Ты вот закручинился, огорчился. И правильно, человек ты хороший и добрый, хоть и жидовин. Но ты одно в толк возьми. Бесов не Бог создаёт. Это человеки по грехам своим бесов рождают, а потом сами же их закрестить тшатся. Кто книгой, кто огнём, кто ещё чем... А только пока закрещивают, намучиваются и опять же через муки свои новых бесов рождают и опять крестят... Так оно и ведётся на свете с самого начала...

Моисей Наумович виновато пробормотал:

— Простите, бабушка, но боюсь, не совсем я понимаю...

— А и где тебе? Знаем мы, может, и одинаково, а понимаем по-разному. Твои отцы из песка да камня вышли, мои же — из родников да трав. Ну и каждому роду своя природа...

Тогда Моисей Наумович, торопливо собравшись с мыслями, спросил напрямик, без подходов:

— Получается, бабушка, что человек этот ночной, который с собачками управился, вашей природы? Ведьмак? Колдун?

— Нет, — ответила бабушка-ведьма. — Он никакой не колдун. Разнuzданный он. Ангел.

— Ангел?

Бабушка мелко затряслась, залившись дробным смехом и легонько ударяя себя по острым коленям костлявыми ладонями.

— Не ангел, добрый человек! Ангел! Ты, поди, и слова-то такого не знаешь, а?

Моисей Наумович встал, положил на стол «красненькую», чопорно поклонился и вышел. Эта беседа произвела на него большое впечатление. Склонный, как большинство прозекторов, к мистицизму, он был потрясён.

На обратном пути он зашёл ко мне с подробным отчётом. И впервые на душе у меня стало тревожно. Помнится, я глядел, как Моисей Наумович прихлёбывает раскалённый чай (с ложечкой коньяку на чашку, как обычно), и бормотал бессмысленно:

— Собаки, газ, ведьма, бесы... ангел какой-то... Господи, да что всё это значит?

— Поживём — увидим, — со вздохом отвечивал Моисей Наумович.

Очередной иероглиф появился в нашем поле зрения уже через два дня. «Скорая» доставила в больницу известного алкоголика Тимофея Басальгу по прозвищу Нужник. (Прозвище это не имеет отношения к месту отправления естественных надобностей, а восходит к любимому словечку Басальги — «нужно». Нужно опохмелиться. Нужно, шеф, бутылку поставить. Нужно, гад, тебе горло перервать.) Это амбал почти кубической формы, ростом метр семьдесят, весом сто десять кило, с сизой шелушащейся рожей, всегда опухшей и небритой, с невыносимых размеров кулачищами, с изрядной плешью на маковке, даром что ему всего тридцать с небольшим. Уголовного прошлого нет, а есть множество приводов и несколько недель пребывания на больничной койке по поводу разного рода алкоголических осложнений. Нужник, одним словом.

Врач «скорой» рассказал. Вызов получился с телефона-автомата: какая-то женщина взволнованно сообщила, что тут на улице с человеком припадок, он крутится в снегу, пытается подняться и не может, нечленораздельно кричит, а мужчины все трусы, боятся подойти и помочь... Но когда «скорая» прибыла, припадочный уже не крутился и не кричал; а лежал на снегу спокойно, с закрытыми глазами и только постанывал. Дело было перед входом в магазин, куда тянулась очередь за водкой, и возле тела стояло всего человек пять-шесть уже снабдившихся. Тело с трудом втащили в машину — причём, когда его взяли на носилки, оно колоссальным задом своим продавало брезент, — и тогда оно, переставши стенать, приоткрыло один глаз и внятно произнесло: «Нужно полежать, братцы...»

В больнице ничего серьёзного у Нужника не нашли, он даже не был пьян, хотя и страдал от похмелья. Врач «скорой» впал в изумление: там, перед магазином, у больного обнаруживались все признаки надвигающейся апоплексии. Нужник лежал на топчане и

окидывал всех искательными взглядами. Ему велели встать. Он встал, вытер сизую фрикадельку носа рукавом и вымолвил с надрывом: «Нужно бы спирту стаканчик, товарищи врачи...» Тут к нему протиснулась наша Грипа, сестра-хозяйка. Всем было известно, что по каким-то причинам, скорее всего матримониального свойства, она до кровомщения Нужника ненавидит. «Спирту тебе, клоп запойный? — взвизгнула она. — А этого не хочешь?» И завертела перед опухшей харей Нужника двумя кукишами. Он отклонился и солидно произнёс: «В медицине нужно себя держать». Грипу оттеснили, а Нужнику предложили рассказать, что с ним произошло. Он охотно рассказал. Тихо-мирно стоял в очереди, дожидаясь, когда магазин откроется после перерыва, и вдруг его скрутило до помрачения, и больше он ничего не помнит, а очнулся только в «скорой», и это нужно понимать, а не заниматься оскорблением пострадавшего. С тем его и выпроводили.

Но дело этим не кончилось. Мстительная наша Грипа не поверила, что Нужник стоял в очереди тихо-мирно, и решила добыть на него компромат, чтобы им занялась милиция. Выяснив из книги вызовов «скорой» адрес магазина, она ринулась доискиваться. Ташлинск — не столица, цепочки знакомств у нас короткие. И недолге вышла она на некую тётку Дусю, мать подружки жены её, Грипиного, старшего брата. Эта тётка Дуся по маленькой спекулировала водочкой и ежедневно выстаивала очередь в магазин на нижнем этаже её дома. В тот день ей повезло очутиться в первой десятке, а сразу за нею встал лысый одноглазый Ким Сергеевич, её сосед по лестничной площадке. И все стояли терпеливо, как вдруг перед самым открытием откуда ни возьмись появился Нужник и стал, распахивая передних, лезть к дверям. Очередь, конечно, заворчала, но связываться было опасно. На протестующие же возгласы Нужник оборачивал своё мурло и сипло рывкал: «Нужно, понял?»

Он уже пристроился у дверей, будто там стоял всю дорогу, как вдруг Ким Сергеевич выдвинулся из очереди, подошёл к нему и, схвативши обеими руками за шиворот, рванул назад. Конечно, не с его пожилыми силами было опрокинуть такой комод, однако Нужник попятился и повернулся. Он не столь разъярился, сколь озадачился. «Ты это што, дурак одноглазый?» — просипел он. А у Кима у Сергеевича лицо стало белое, аж голубое, и всё заблестело от пота. И он довольно громко сказал: «В очередь встань, скотина!» Нужник выпучил на него свои бельма и говорит: «Нужно тебе последний глаз выдавить, гад». И протянул свой толстый грязный палец к лицу Кима Сергеевича. Ну, все замерли, только какая-то дамочка ойкнула.

Но не донёс Нужник свой грязный палец до лица Кима Сергеевича. Что-то с ним случилось, с Нужником. Морда у него вся почернела, зашатался он, замахал руками и грянулся навзничь в снег. Полежал чуток тихо, потом забарахтался, видно было, что подняться силится, а не может, что-то его корчит и скрючивает, и что-то он такое лопочет, не поймёшь что. Ким Сергеевич с минутку посмотрел, как его черти разбирают, да и пошёл прочь. А тут магазин открыли, все внутрь кинулись, и когда, взявши свои законные две бутылки, тётка Дуся обратно вышла, то увидела только, как «скорая» отъезжает...

Грипа рассказывала с увлечением и злорадством, даже в лицах показывала, и невдомёк ей было тогда, кто такой этот Ким Сергеевич, героически выступивший против ненавистного Нужника, и что магазин тётки Дуси помещается в том самом доме, куда в незапамятные времена Ким пригласил меня на своё новоселье. В заключение Грипа, светясь от счастья, сообщила, что было у неё намерение подать на Нужника в милицию за хулиганство, пусть бы сколько там суток в кутузке поманежился, да видать, сам Бог за подлеца взялся, наказал на месте, а милиция перед Богом что? Тьфу! И растереть... А таким смелым и справедливым людям, как этот Ким Сергеевич, надо ноги мыть и воду пить...

Когда мы с Моисеем Наумовичем удалились в ординаторскую и закурили, я сказал:

— А вот интересно, будет ли теперь Нужник появляться на улицах и лаять?

Моисей Наумович досмотрел на меня печально и строго.

— Плохая шутка, Алексей Андреевич, — проговорил он. — Не ожидал от вас...

Я устыдился.

Скоро выяснилось, что шутка моя и вправду была не очень.

### 13

*Да что пожары, что лифты! Что там служебные неприятности! Даже с голубями его происходили странные истории. Один турман сорвался с третьего этажа и сломал ногу.*

В один сумеречный вьюжный день меня позвали в приёмное. «Персонально вас просят, Алексей Андреевич», — сказала сестра. И кто же поднялся мне навстречу, когда я вошёл? Ким Сергеевич Волошин собственной персоной, во всей своей безволосой и одноглазой красе, совсем как полтора десятка лет назад, только сильно постаревший и очень прилично одетый. Жёлтый тулуп, огромная мохнатая шапка совершенно кавказского вида и ещё что-то меховое и шерстяное кучей лежало на скамейке. Широко улыбаясь, он протянул мне руку и произнёс своим сипловатым баском:

— Привет, Лёшка. Вот, пневмония у неё. Клади к себе и лечи.

Только тогда я заметил сидящую тут же в полукреслице женщину. Была она тщедушна, маленького роста, и даже под толстым свитером угадывалось, что локти и плечи у неё угловатенькие, а ноги, утопавшие в широких голенищах валенок, казались тонкими и едва ли не безмускульными. Личико у неё тоже было маленькое, и на скулах горели пятнышки нездорового румянца.

— Это моя жена, — сказал Ким, уже не улыбаясь. — Светлова Людмила Семёновна. Ты уж как-нибудь... Режим максимального благоприятствования... по старому знакомству.

— Будь спокоен, — сухо отозвался я.

Не потому сухо, что не видел никаких оснований создавать жене Кима особенный режим, а чтобы скрыть замешательство. Как сказал бы классик, мозг мой будто мгновенно взболтали ложкой. Старый хрен, а туда же, она вдвое его моложе... Не то. Ким и женитьба — это несовместимо, несуразно, из ряда вон... Но мне-то какое дело? Но вот обширный жёлтый тулуп на скамье, невероятных размеров шапка... собачки... Нужник... Режим благоприятствия? Да ради Бога!

Я велел Киму дожидаться меня, а сам отправился создавать режим. Создал. С подачи нашей Грипы, которая тут же прониклась к Люсе неизъясимой нежностью (ещё бы, жена смелого и справедливого, которого она моментально вычислила по описанию тётки Дуси), новая пациентка была помещена в удобный трехместный бокс по соседству со спецбоксом для начальства.

Неисповедимы пути судеб наших. Неисповедимы, но это не значит, что они не определены кем-то заранее. Как раз в те дни в спецбоксе для начальства страдал от радикулита сам заместитель председателя горисполкома Барашкин Рудольф Тимофеевич. Впёрся-таки он со своим радикулитом ко мне в терапию, а лучше было бы ему по принадлежности лежать в неврологии, пусть и тесновато там, и пованивает...

Когда всё устроилось, я пригласил Кима в ординаторскую покурить и покалякать по душам, а заодно заполнить историю болезни. На этот раз Ким говорил много и охотно. Когда я сообщил ему, что случай банальный и есть надежда вернуть ему жену недели через три-четыре, он вздохнул и сказал:

— Жалость какая. Хотели расписаться перед Новым годом, а теперь не успеть...

Вышла она, как и он, из детдома, было ей двадцать три года, служила кассиршей в кинотеатре «Восход», заведении паршивеньком, патронируемом по преимуществу пэтэушниками, солдатней из стройбата и прочей шпаной. И угораздило её в восемнадцать лет сойтись с бывшим одноклассником. Понесла, как водится, а тут Родина призвала его в ряды. Собрались было в загс, но бешено воспротивились родители. Он клятвенно пообещал ей жениться, как только вернётся, и отбыл. Своевременно она родила дочку. Сунулась было к его родителям, но была отвергнута с брезгливым негодованием. Тогда она поселилась у

какой-то старушечки, которая не то что в лавку сходить или печку истопить — до ветру выйти не всегда могла. Ну, кое-как жили втроём, старуха, молодуха и младенец. Старухина пенсия тридцать пять, да её зарплата шестьдесят, да старуха ещё маленько вязала, а молодуха продавала на базарчике... Были чёрные минутки, подумывала она дочку в заведение сдать, но каждый раз себя останавливала: суженый вернётся, спросит, куда, дескать, дочку подевала?...

И вернулся суженый в цинковом гробу из Афганистана. Чёрт знает почему, но родители героя в несчастье этом обвинили её, прогнали с ребёнком с похорон и наказали впредь на глаза не попадаться. Ну, она больше и не попадалась. И то сказать, доказательств нет, в паспорте шаром покати, а щенков любая лахудра сколь хошь наплодить может, чтобы с родных средства тягать...

Было тревожно и грустно слушать эту повесть, но ещё более тревожно и интересно было мне смотреть на Кима, такого необычно разговорчивого и откровенного. Голос у него то и дело ломался и менял тембр, время от времени он словно бы сглатывал всухую и раза три или четыре доставал чистенький платок и промакивал свой единственный глаз. Потом он замолчал. Я подождал немного и спросил:

— Она теперь у тебя живёт?

— Конечно. И она, и девочка. На той неделе перевёз. Так что теперь я сразу и муж, и отец.

Лицо его вдруг омрачилось, резко определились складки по бокам тонкогубого рта.

— Ты что? — спросил я. Почему-то мне сделалось тяжело.

— Дочка, — проговорил он. — Тася. Глухонемая она.

А теперь пора вернуться к упоминавшемуся выше заместителю председателя горисполкома Рудольфу Тимофеевичу Барашкину, влезшему со своим радикулитом в мой бокс для всласть имущих.

Был он отпетым невеждой (образование, как говорится, ЦПУ плюс ВПШ), но и те жалкие крохи знаний, что чудом удержались в его черепе, ухитрился весьма ловко приспособлять к своим нуждам насущным. Ей-Богу, своими ушами довелось услышать. На заре его туманной юности некий энтузиаст-педагог сумел заставить его заучить известные жалобно-горделивые строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Из строк этих Барашкин сделал такой вывод. Раз авторитетные люди считают, что для понимания России ум не нужен, значит, так оно и есть, а нужен ум для того, чтобы понять, где и что в России плохо лежит, измерить это аршином не общим, а своим собственным и пользоваться соответственно.

И был Барашкин хамом. Сестёр моих доводил до слёз, непечатно ругался, а когда не мешали ему радикулитные ощущения, пытался хватать тех, кто помоложе, за разные статьи. Ходячие больные, чтобы не нарываться на его язвительные излияния, избегали ходить в туалет мимо его бокса. Однажды я пригрозил выгнать его из своего отделения. На это он ответствовал с презрением: «А попробуй только, клистирная трубка. Я тебе такое отделение устрою, век помнить будешь». После чего загоготал и добавил: «Кинофильм „Чапаев“ видел? Как он там вашему брату... Клистирные трубки, кругом марш!» Сдуру я понёсся к нашему Главному, но, как и следовало ожидать, лишь подвергся невразумительным увещаниям. Основной упор был сделан на то, что товарищ Барашкин числится не за мной, а за неврологией, из чего странным образом следовало, что надо терпеть и не обострять отношений...

Вот такое сокровище оскверняло мой спецбокс вплоть до первого января 87-го года.

Не боюсь признать, что по праздничным дням, как и во всех больницах, регламент у нас слегка нарушался. С утра шли посетители, халаты были нарасхват, вкусные запахи от авосек, корзинок и коробок заглушали больничную ароматуру, не забывались и те страждущие, которые посетителей не ждали. Медсёстры забегали в палаты напомнить припозднившимся об очереди за халатами и выскакивали с подзамазлившимися губами и даже жуя на ходу. Многим и многим таким картинкам довелось мне быть свидетелем за

многие годы моего докторства...

Но картинка того первого января была вдруг перечёркнута жирной чёрной полосой.

## 14

*Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми тёмными и стыдными органами своего тела.*

Я был в тот день с Алисой у старинного приятеля, которого в своё время вытащил из тяжёлого инфаркта. Резиденция в военном городке километрах в сорока. Машина на дом. Мороз и солнце. Четыре пары гостей. Встреча Нового года с шампанским. Ночная прогулка. Сладкий и удобный сон. Утром лёгкий завтрак. Снова мороз и солнце. Отличная прогулка на лыжах, праздничный обед, послеобеденный сон. Преферанс под коньячок. В десять расписали, слегка закусили, отбой. Раннее утро, опять мороз и солнце. Прощальные объятия: «Всё же редко встречаемся, старина!» Сорок обратных километров по накатанной дороге. Останови вон у того дома, дружок. Спасибо. Пятёрка в бурую от всяких ГСМ ладонь. Хорошо живёт на свете Винни-Пух!

Я и не подозревал, какие напасти ждут меня. Как выразился Сэм Уэллер:

«Знай вы, кто тут находится поблизости, сэр, я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом...»

Я переодевался в повседневное, когда в кабинете задребезжал телефон. Звонил дежурный врач. Едва я откликнулся, он заорал дурным голосом:

— Алексей Андреич? Слава те, Господи, наконец-то! Главный вас обыскался...

— С Новым годом! — строго произнёс я, физически ощущая, как сердце моё проваливается в желудок.

— Да-да, конечно... Вас тоже... Алексей Андреич, срочно в больницу. Тут у нас неприятность...

— Погоди. У кого это — у нас? У вас в хирургии?

— Как раз наоборот. У вас в терапии. Главный вас со вчерашнего дня разыскивает.

Я сосредоточился и перебрал в памяти самые скверные возможности. Нет, всё было не то. Даже если бы половина моих старушек и инфарктников скончались в одночасье, наш Главный не стал бы тратить праздничный день на розыски заведующего терапией. Не такой он человек. Но что же тогда? словно бы в ответ голос в трубке прошелестел:

— Барашкин вчера копыта откинул.

— Умер?

— Как есть умер, — подтвердил с придыханием дежурный.

— От радикулита? — обалдело спросил я. Конечно, я был не в себе и тут же спохватился: — Хорошо. Иду.

Всё стало ослепительно ясно. Барашкин откинул копыта на моей территории, и даже если бы причиной смерти был укус гюрзы, расхлёбывать эту кашу придётся именно мне, и уже виделся я себе тонущим в море докладных, объяснительных, гневных жалоб родственников и зловещих запросов из инстанций. Потому что Барашкин, а не безвестный пенсионер с какой-нибудь Пугачёвки... Со стеснённым сердцем, на отяжелевших ногах направился я в больницу, выражаясь чуть ли не вслух по адресу покойного Барашкина, здравствующего Главного и игривой судьбы своей.

Дежурный врач уже ждал меня. Он сообщил, что Главный сидит у себя, паникует и ждёт меня, чтобы обсудить некоторые вопросы. Ладно, сказал я, это потом. Что и как произошло? Дежурный деликатно напомнил мне, что заступил только вчера вечером, когда всё значимое уже произошло, а в больнице царил одна лишь бестолковщина, производимая компетентными лицами, демонстрировавшими различные стадии алкоголического восторга.

Ладно, сказал я, но мне всё же хотелось бы выяснить всё-таки, что и как произошло. Ты же понимаешь, старина, прежде чем предстать перед Главным и обсуждать вопросы... Если спросит, скажи ему, что я у себя. И я поволок ноги в свою родную терапию. Барашкин — это Барашкин, неотвязно думалось мне, и тень прокурора реяла у меня за плечами.

Приказав нянечке разыскать старшую сестру, я забрался к себе в кабинет. Оглядел стол — истории болезни не было. Когда вошла старшая, я спросил, забыв поздороваться:

— Какой диагноз?

— Острая коронарная недостаточность.

— А где история?

— У главного врача.

Так. Я подпёр щеку кулаком и приказал:

— Рассказывайте, что и как.

Она замялась: вчера она тоже праздновала, как и я. Ещё одно лыко мне в строку. Но тут в кабинет ввалился весь наличный медперсонал плюс ещё трое бабочек, бывших вчера свидетельницами. Эта троица явилась сегодня посмотреть, что из всего этого выйдет. Так я их понял и пропустил мимо ушей, как одна из них, старейшая наша нянька Эльвира, объяснила с недостойной прямоотой: «Надо ж было поделиться радостью с подругами...» Вот они и рассказали мне, что и как.

Вчера после обеда явилась к Барашкину его супруга. Естественно, она не стала дожидаться с хамами, когда освободится халат, а впёрлась прямо в котиковой шубе и расшитых валеночках-унтах. Она одарила своего страдальца гостинцами, всё чин чинарем: «А там икра, а там вино, и сыр, и печки-лавочки...» Икра, точно, была, печки-лавочки были представлены балычком и буженинкой, а вместо вина одарён был страдалец бутылкой невиданного в наших широтах коньяка. И была при этом она, супруга, пьяна. («Навеселе», — сказала деликатная санитарка Симочка; «Под бухарем», — подтвердила грубая санитарка Галина из хирургии; «По самые брови налитая», — возразила тётя Эльвира.) Впрочем, пробыла жена недолго. Тянули, наверное, по рюмашке за Новый год, и она отчалила, оставив повелителя своего сосать в одиночестве.

Некоторое время всё шло тихо и мирно, но вдруг дверь спецблока с треском распахнулась, и Барашкин возник на пороге — в роскошном халате нараспашку, в пёстрой фуфайке ручной вязки и в тёплых антирадикулитных подштанниках, вся аптека наружу. Больные и посетители, расположившиеся на лавочках под сенью худосочных больничных пальм, замерли от неожиданности. Барашкин же, грозно оглядев их, заговорил. А глотка у него, надо признать, была потрясающая. Когда он принимался орать, дрожали стёкла, дребезжала посуда и бедные мои старушки пациентки в ужасе прятались с головой под одеяло. И все выступления его были, как правило, обличительными и угрожающими. Таким было и его последнее выступление.

Репертуар, как явствовало из свидетельских показаний, был обычный, с обычными же непредсказуемыми перескоками с темы на тему. Он не позволит таким и сяким коновалам делать над ним свои поганые опыты и писать с него свои учёные статьи. Он очень даже хорошо понимает, что больницу заполнили за взятки разные тунеядцы, которые отлёживаются здесь за государственный счёт, чтобы уклониться, да ещё шляют в сортир мимо его двери. Он выведет на чистую воду тех, кто обворовывает в больнице народ и кормит народ помоями...

Посетители попытались урезонить его — он пригрозил сгноить их. Санитарка попыталась водворить его обратно в бокс — он объявил, что сейчас не те времена, чтобы затыкать рот. Прибежал растерянный дежурный врач — он повелел врачу в недельный срок убраться в Израиль. Тётя Эльвира, нежно обняв его за необъятную талию, стала уговаривать его пойти и прилечь — он упёрся и стал громогласно и косноязычно объяснять, кто такая тётя Эльвира и кто были её ближайшие родственники...

И вот как всё получилось. Только-только Барашкин впал в разоблачение сексуальных связей давно усопших родителей старой няньки Эльвиры, как вдруг замолк. Прямо на

полуслове. Словно радио выключили. Симочка, в ужасе прятая за спиной дежурного врача, видела всё своими глазами. Барашкин смолк, морда у него посинела, он икнул, всхлипнул и повалился на бок. Его даже подхватить не успели. Упал, перебрал ногами и застыл, закатив глаза. Всё.

— Что сделали? — тупо спросил я.

Сделали всё, что можно было и что полагалось. Дефибрилляцию. Интубацию. Ничего не получилось. Труп — он и есть труп. Всё равно, что укол в протез. Сдох Барашкин. И скатертью дорога. Правильно сказал Волошин, от души. Вышел, глянул и сказал — громко так, чтобы всем слышно было: «Собаке собачья смерть»...

Сердце моё дало сбой.

— Постой, постой, — коснеющим языком выговорил я. — Кто, ты говоришь, вышел?

— Волошин... Да вы знаете, с одним глазом который...

— Откуда вышел?

— Да из соседнего же бокса! Вы что, Алексей Андреевич, забыли? Там Люсенька, жена его лежит...

Пока я собирался с мыслями, выяснилось, что Ким был очень заботливым мужем. Навещал жену чуть ли не каждый день и всегда с гостинцами. Пошил себе больничный халат, сам, видно, стирал и даже крахмалил. Часто приходил с дочкой. Тощенькая такая, конопатенькая, но ухоженная, волосики всегда расчёсанные, с бантами, и платица аккуратные. И вчера тоже с дочкой пришёл. Она у них, бедная, не слышит и не говорит, но всё сообщает, а отца так понимает с одного взгляда. Пришли они вчера, рассказывала тётя Эльвира, и устроил он в боксе целый пир. Я им кипятку, конечно. Тасенька чай разливала и разносила. А уж бублики были — объеденье, тёплые ещё, видно, сам стряпал...

— Постой, тётя Эльвира, — прервал я её. — Что ты мне про бублики... Когда Барашкин загнулся, Волошин был в коридоре?

— Не было его в коридоре, — решительно сказала тётя Эльвира. — Я же говорю, он после вышел...

— Точно, — подтвердила Галина из хирургии. — Как Барашкин грохнулся, я побежала помочь Григорию Рувимовичу, а Волошин этот как раз из бокса выходил и дверью меня в задницу толкнул...

Все они, словно почуяв что-то, с выжидательным любопытством уставились на меня. Но я только спросил:

— Что было потом?

Потом, после необходимых и бесполезных процедур, труп утащили в морг, а ближе к вечеру нагрянула компания дармоедов то ли из милиции, то ли из безопасности, большей частью по случаю праздника на взводе, и с ними жена... вдова усопшего. Та вообще лыка не вязала и только непрерывно требовала, чтобы тело мужа хоть на кусочки изрезать, а доискаться, кто совершил террористический акт. Вцепились в дежурного врача: не ударил ли он или не толкнул ли товарища Барашкина, когда тот в пылу полемики позволил себе нерекомендованные высказывания. Потом допрашивали персонал. Один добрался даже до котельной, где и был нынче утром обнаружен спящим в обнимку с пьяным нашим кочегаром...

Я слушал и не слушал. Значит, действительно Ким, лихорадочно думалось мне. Нельзя больше прятать голову в сугроб, убаюкивать себя всякой пошлятиной насчёт совпадений. Совпадение раз, совпадение два, но помилуй Боже, где же воля Твоя? В своё время узнаем, конечно. Как пел много лет назад одноногий дядя Костя, кавалер одинокой медали: «На закуску узнаем, не пройдёт ещё час, есть ли небо над раем, иль морочили нас»...

Какое-то движение почудилось мне в пустом углу за плечом санитарки Симочки. Я взгляделся. Посиневшая, с оскаленными золотыми фиксами, с закаченными бельмами морда Барашкина была там, поторчала, скривилась безобразно и исчезла. Я вытер со лба испарину. Крещендо, вспомнилось мне. Вот как это называется. Крещендо. Сначала райком. Затем собачья бойня. Затем падение Нужника. Теперь вот Барашкин. Не просто Барашкин, а

ценный Барашкин.

Я спровадил наших девочек и тётчек из кабинета и отправился к Главному. Из мутных пучин непроглядной тайны на знакомую тёплую отмель обыденщины. Глубина не выше щиколотки. Отчётливо виден каждый трилобитик, копошащийся в донном песочке. Главный — не Ким Волошин, он прозрачен как стекло: профан, подхалим и трус. Заветная мечта — лекторская должность в облздраве. И, следовательно, никаких ЧП. У него в больнице не было, нет и не будет никаких ЧП. Пока он Главный, нет никаких ЧП, а есть нерадивые, авантюристы, возомнившие о себе зазнайки, о которых он своевременно и заранее сигнализирует куда надо. Тем более такое лицо, как покойный Барашкин. Пятно на репутации больницы. Следствие будет тщательным и пристрастным. Прокуратура по головке не погладит. Слава Главному! Я наливался злостью. Весёлой злостью, я бы сказал. Мертвецы перестали мерещиться по углам. Ещё немного. Вот оно, коронное: «И имейте в виду, Алексей Андреевич, никто для вас каштанов таскать не будет. Когда вызовут на ковёр, пойдёте вы, а не я. Мне на это время заболеть ничего не стоит».

Я нагло потянулся, зевая, встал и вышел, оставив его в приятном недоумении, — не сошёл ли я с ума и не должно ли меня вязать и отправить куда надо с соответствующей сопроводительной.

Я спустился в прозекторскую. Моисей Наумович сидел на «скорбном столе» (так он прозвал это зловещее сооружение из искусственного мрамора) и курил. Едва глянув на меня, он пробубнил скучным голосом:

— Совсем был здоровый мужик. Протокол будете читать?

Я помотал головой.

— Нет. Пусть в неврологии читают. Впрочем, какой вы диагноз поставили?

Он помолчал, затем с кряхтением слез со «скорбного стола».

— Диагноз... — проворчал он. — Нормальный. Тот же, что и дежурный врач. Острая коронарная. Какой ещё может быть диагноз? Вдруг ни с того ни с сего остановилось сердце. Бывает?

Я машинально согласился, что бывает. Моисей Наумович вдруг рассмеялся.

— Представляете, Алексей Андреевич, эта дамочка... вдовушка... настояла на немедленном вскрытии, и чтобы у неё на глазах. Чтобы убийцы в белых халатах чего не утаили. Попытался отговорить её, выпереть, — куда там! Вступились эти... как их... следователи, что ли? С красными книжечками. Ну, мне с ними не тягаться. Ладно, говорю, сами напросились, на себя пеняйте... — Он снова рассмеялся — нехорошо так, непохоже на него, словно бы злорадно. — Едва я начал, как повело их. Всё мне здесь заблевали и унесли. И вдову уволокли... Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба.

— Моисей Наумович, — сказал я, — у меня для вас новости.

— Это плохо, — сказал он. — Рассказывайте, Алексей Андреевич.

Я рассказал. Он выслушал. Лицо его закаменело. С минуту мы молчали, потом он проскрипел:

— Как это Волошин сказал? Собаке собачья смерть... Совсем получается по Фрейду, на Пугачёвку указывает...

Он заторопился. Напяливая свою облезлую шубёнку и кое-как обматываясь шарфом, произнёс невнятной скороговоркой:

— Но ведь и опять у него ничего не вышло! Мозги изрезаны, потроха искромсаны... Видно, не предусмотрел. Значит, будем ждать следующего случая...

Смысл этой странной сентенции он объяснил несколькими днями позже.

Явившийся на очередной «чек-ап» и на уколы лейтенант С. сообщил мне (как всегда по секрету, конечно), что у них в управлении имело место чрезвычайно необычайное происшествие. Оказывается, ещё со времён странной истории в райкоме милиция с подачи нашей ГБ взяла под колпак некоего Кима Сергеевича Волошина («Да вы его должны помнить, Алексей Андреевич, это тот, что в газете про Польшину-город... После райкомовских падений мы его разыскивали, я вам рассказывал...») И вот после смерти Барашкина его вызвали в управление. Беседовал с ним сам капитан в своём кабинете за закрытой дверью.

Вдруг Волошин распахнул дверь и гаркнул: «Эй, вертухай! Ваш начальничек упаковочку даёт!» Кинулись. Капитан лежал головой на столе и стонал. Выяснилось, что он навалил себе в брюки. Ещё не успела подойти «скорая», как капитан очнулся, огляделся с ошарашенным видом, узрел Волошина и слабым голосом приказал удалить его из управления. Что и было сделано весело и беспечно. Врач же «скорой» констатировал лёгкий спазм мозговых сосудов и порекомендовал сотрудникам отвести злосчастного начальника отмываться.

Признаюсь, я преисполнился злорадства. (Силён враг добра в человеке!) А как же! Ничего им не стоит упечь какого-нибудь пархатого Григория Рувимовича или, скажем, завуча Второй школы (был такой эпизод), но вот столкнулись лоб в лоб с бесом — и полные штаны...

— Ну, и как? — спросил я, демонстрируя серость и невинность почти девичью. — Вы его, конечно, снова вызвали?

Но лейтенант С. тоже, видимо, подумал насчёт бесов. Он считает, что с таким типом лучше не связываться. И все в управлении так считают. И капитан тоже. Нет, это не дело милиции. Об этом ведь и реляцию толком не напишешь. Представляете, Алексей Андреевич, приходит к нашему полковнику в Ольденбург бумага! Да ещё о том, как наш капитан обос... А если у гэбэшников так свербит, то пусть сами и занимаются, а мы полюбуемся со стороны...

Когда С. ушёл, я бросился к Моисею Наумовичу. Выслушав меня, он невесело ухмыльнулся и бесцветным голосом выразил опасение, что дальше будет ещё хуже. И он оказался прав. Дальше получилось так плохо, что и вспоминать не хочется. Но из песенки этой ни единого слова выкидывать нельзя.

Узнали мы об этом страшном деле во всех подробностях от насмерть перепуганной сестры-хозяйки Грипы, а та — от пресловутой тётки Дуси, соседки Волошиных, очень прилепившейся в последнее время к Люсе и её убогой дочке. Устойчивая информационная цепочка, я бы сказал, совсем как в случае с Нужником... и очень для нас удобная, если здесь уместно такое слово.

Так вот, Ким сидел себе дома у окна и что-то мастерил на подоконнике, поглядывая на падчерицу, игравшую во дворе. Люся и тётка Дуся стряпали на кухне и напевали, а Ким им подсвистывал и всё поглядывал да поглядывал, следил, чтобы Тася, упаси Бог, не сбежала бы со двора на улицу, где машины. А денёк был отменный, и собралось на дворе дюжины полторы дошкольников и девочек-первоклашек, катались со снежной горки кто на салазках, кто на дощечках, а кто и просто так. Мальчишки, как водится, играли отдельно. Такова была диспозиция к началу трагедии.

Как известно, дети — цветы жизни. Но весьма часто без видимой причины они разом обращаются все против одного, причём, как правило, слабейшего и самого робкого или, что совсем уже предпочтительно, против увечного. В тот день дьявол науськал детей на Тасю. Начала кампанию дочка монтера, жившего этажом выше Волошиных, ученица второго класса, девочка крупная, грубоватая и задиристая. Она повалила Тасю и с торжествующим воплем: «Дура глухая, корова мычливая!» — принялась возить её мордочкой по снегу. Весёлые подружки не замедлили присоединиться. И всё это увидел Ким.

Он взревел, вскочил, запутался ногами в упавшем табурете, разбил его и, оттолкнув выскочившую в прихожую жену, бомбой вылетел на лестничную площадку. Он проскочил

два пролёта, а на ступеньках третьего поскользнулся, с размаху сел и так и остался сидеть, стиснув голову руками, весь в поту, с фиолетовой лысиной. Наверное, именно в этот момент и произошло умертвие. Дети с отчаянным визгом брызнули в разные стороны, и на месте остались двое: ворочавшаяся на снегу, мычавшая от страха Тася и неподвижно распластавшаяся дочка монтера. Мёртвая. Необратимо мёртвая.

Так рассказала нам, трясясь и закатывая глаза, наша Грипа. Уже на следующий день. «Внезапная смерть», как сформулировал корифей из кардиологической бригады «скорой». «Рефлекторная остановка кровообращения», как занёс в справку мертвеющей рукой Моисей Наумович.

Дальше начались последствия. Соседям и особенно родителям было как день ясно, что доктора либо не разобрались, либо морочат людям голову, что никакой такой «рефлекторной» у девочки не случилось, а была девочка убита, и убил её непостижимым образом Ким Волошин, всем известный колдун и злодей. Тех, кто сомневался, давили прецедентами — происшествием с Нужником и смертью Барашкина. Скоро весь город кипел возбуждением, близким к панике.

Конечно, требовались объяснения, и загуляли ужасные слухи. Материалисты убеждали, будто злодей Волошин вооружён неким ручным газомётом, мистики талдычили насчёт дурного глаза, порчи и какого-то авестийского волшебства. Но требовались не только объяснения, требовалось и немедленное отмщение. В райком, в милицию, в газету посыпались письма. Арестовать и произвести доскональное расследование. Если потребуется, то и с применением форсированных методов допроса. А ещё лучше — просто взять и повесить на площади Ленина...

И были соответствующие делегации. Ветеранов партии и труда. Общества защиты животных. Воинствующих безбожников и воинствующих патриотов. В райкоме им сказали, что проблема сложная, необходимых специалистов нет, послан запрос в область. В милиции объявили, что никакие действия Волошина К.С. ни под какую статью УК РСФСР не подпадают, попытки же самосуда над Волошиным К.С. будут пресекаться строго и беспощадно. А редактор нашей славной газеты, хоть и рад был бы свести счёты с бывшим сотрудником, самоустранился, ибо только недавно получил втык за статью о высадке инопланетян в соседней области.

Характерно, что градус гражданского возмущения не был одинаков для всего города. Больше всех волновались в районах, наиболее удалённых от «Черёмушек», — за Большим Оврагом. В доме же, где жили Волошины, и ближайших окрестностях население держалось тише самой застойной воды и ниже самой низкой муравушки. Похоронив дочку, монтер немедленно увёз обезумевшую от горя жену куда-то к родственникам, и всё замерло. Некоторые по примеру монтера тоже вывезли свои семьи — от неведомого греха. Не играли больше детишки во дворах. Самые бесшабашные сорвиголовы, старшеклассники, пэтэушники, молодые рабочие стремглав шарахались в ближайшие подворотни, когда Ким выходил из своей берлоги в магазин или прогулять Тасю. (Люся не выходила из дому ни на шаг. Навещала её украдкой, когда уходил хозяин, одна лишь тётка Дуся. По её словам, Люся, осунувшаяся и поблёкшая, дни напролёт сидела на кровати, сложив руки на коленях, и глядела в окно, говорила мало и нехотя.)

Прошла неделя, и монтер с женой вернулись в дом. Вечером жена монтера, пьяная и растрёпанная, отпихнув мужа, пытавшегося её удержать, спустилась к дверям квартиры Волошиных и принялась колотить в неё кулаками и ногами, крича во весь голос.

— Убийца! — кричала она. — Отвори, убийца! Где моя дочь, проклятый упырь? Думаешь, убил и шито-крыто? Не выйдет! Я с тебя с живого не слезу! Ты у меня землю жрать будешь! Ты у меня сам в петлю полезешь! Отвори, я тебе последний глаз выцарапаю!

Надо полагать, весь дом в ужасе внимал этому вызову. Тётка Дуся попыталась увести несчастную мать, но была отбита с шумным негодованием. Попытался оттащить её муж, но только переключил внимание жены на себя и вообще на всех мужчин в этом доме.

— Отойди, отзынь, трус паршивый! — взвилась она. — Почему ты не убил убийцу

твоей дочери? Почему он жив и в ус не дует? Боишься, слизняк? Я одна здесь не боюсь! А вы здесь все трясётесь, затаились, шкурники проклятые! Мужчины, называется! Алкоголики сраные! Все вместе одного упыря задавить трусят!

Так она бушевала, совсем охрипла, билась в истерике, выкрикивая уже совершенно непечатное. При некотором усилии воображения можно представить себе, что происходило тогда в квартирке Волошиных. Как Люся, чтобы не слышать, зажимала уши и прятала голову под подушку. Как недоуменно хлопала глазами маленькая Тася, отрезанная от событий своей глухотой. Как метался из угла в угол Ким, скрипя зубами, с налитым кровью лицом, и всё пытался... нет, тут воображение отказывает мне. С тем же успехом могу представить себе, как он сидит у стола, потягивая водку, прикрыв глаз тяжёлым синеватым веком, и даже слегка ухмыляется зловещей бесовской ухмылкой...

Жена монтера замолкла на полуслове и потеряла сознание, а очнулась через несколько минут хрестоматийным кретином, утратившим вдобавок память и речь. Час спустя кто-то догадался вызвать «скорую», и её увезли. Потом след её затерялся.

Весть об этом новом злодеянии (а в том, что это именно злодеяние, никто в городе уже не сомневался) обычным чудом облетела нашу публику той же ночью. Во всяком случае, когда я в девять утра пришёл в больницу, о случившемся знали все больные, все сёстры и няньки. Я связался с Моисеем Наумовичем. Он тоже уже всё знал. Я предложил выйти потолковать под открытым небом: в больнице было полно народа и лишних ушей. Мы сошлись на середине двора и закурили.

## 16

*И в тумане табачного дыма  
Слово вымолвил старый стрелок,  
Что для воина всё достижимо,  
Лишь бы только варил котелок!*

Я решительно сказал:

— Надо что-то делать, Моисей Наумович.

Он зябко повёл плечами под накинутой шубейкой. Лицо у него было измученное.

— Надо бы, — пробормотал он.

— Написать в облздрав? В министерство?

— Даже не смешно...

— Может быть, у вас в Москве кто-нибудь есть? Старые связи какие-нибудь... Нет?

Он безнадежно махнул рукой. Я сказал с раздражением:

— Люди же гибнут, Моисей Наумович! Может, в ГБ обратиться?

— Послушайте, Алексей Андреевич. Если верить этому вашему лейтенантику из милиции, в КГБ всё и без нас известно... И потом...

Он замолчал и вдруг пугливо поглядел на небо, серое пасмурное небо, откуда сыпал на нас в безветрии мелкий снежок. Словно бы он ждал, что вот-вот на нас спикируют какие-нибудь «мессеры».

— Что — потом? — рывкнул я, чтобы подавить в душе страх. — Что — потом, Моисей Наумович? Говорите же, мы здесь не шутки шутим!

— Всё, что мы с вами знаем, они знают и без нас. А вот с кем они дело имеют, этого они не знают...

— А вы знаете?

Он поник головой и едва ли не шёпотом произнёс:

— А я знаю. Но они не поверят. Не готовы они.

— Но хоть мне-то вы можете сказать? — закричал я. — Я-то уж, кажется, ко всему готов! Да говорите же, чёрт подери, право!..

И он заговорил, а я стал слушать, выпучив глаза и раскрыв рот. Нет, к этому не был

готов и я.

Ким Волошин, объяснил Моисей Наумович, не живой человек в полном смысле этого слова. Возможно, он не человек вообще. Ким давным-давно умер, был ввергнут в ад, осуждённый на вечные муки, но ему удалось бежать. Бежать совершенно так же, как в нашем мире бегут из тюрем, колоний и прочих мест, куда менее отдалённых. А беглецу из ада, как и заурядному беглецу с каторги, требуется как можно скорее смешаться с массой, затеряться в толпе. Ведь адские слуги, упустившие его, рыщут в поисках по всему миру, чтобы нагнать, схватить и вновь ввергнуть в пучину невыносимых мучений! Но тут возникает заковыка. Никто не может представить себе, какие травмы и увечья получает иномирская плоть от разных там сковородок, котлов и раскалённых щипцов, но в первую очередь, очевидно, беглец озабочен заменить своё изувеченное иномирское обличье на нормальное тело обитателя нашего мира. Иначе и у нас его не поймут, и погоня настигнет в два счёта. Ну и вот...

Моисей Наумович замолчал и со значением посмотрел на меня.

— Что — ну и вот? — тупо спросил я. Я обалдел. Всё-таки передо мной был один из самых умных и образованных людей, каких я когда-либо знал. Материалист, чёрт подери. Медик!

— Вот он и ищет себе новую плоть, — пояснил Моисей Наумович. — А это не просто. Тела убитых на войне или погибших при катастрофах сильно повреждены. Переселяться в них — всё равно что менять одну драную телогрейку на другую. А добраться до тех, кто почил более или менее естественной смертью, он не успевает, ибо эти телесные оболочки почти сразу же попадают к прозекторам. Ну и вот.

— Погодите, Моисей Наумович! Ну и вот, ну и вот... Каким образом всё это согласуется...

— А я не знаю, каким образом. Я никогда ни о чём подобном не слышал. Предположим, он принялся изготавливать себе трупы сам. Или ему не обязательно нужен труп, а так... живой, но безумный, скажем. И предположим, что при побеге ему удалось завладеть адским оружием своих мучителей... Бывает же, что преступники при побегах захватывали у охраны пистолеты, автоматы, не знаю, что там ещё...

Я взял его за руку и мягко сказал:

— Моисей Наумович, признайтесь, где вы нахватались всей этой несусветной чепухи?

Он отвернулся и высвободил руку.

— Что ж, не буду скрывать. На идею меня навёл один фильм. Американский. Фильм ужасов. Хотя в нём всё совсем не так... Но это не чепуха, поверьте старику, Алексей Андреевич! Может быть, я сумбурно изложил... не все детали учёл... но в главных чертах, в основном я прав, я уверен...

— Да, — сказал я с горечью. — В основном вы правы, конечно. К принятию такой версии в КГБ, несомненно, не готовы. Другое дело — наши няньки и старушки. Они уж за эту версию ухватятся, да ещё подробностей добавят...

— А хотя бы няньки и старушки! — произнёс он, гордо задрал свой огромный старый нос. — Глас народа, знаете ли...

Я обнял его за плечи.

— Пойдёмте, Моисей Наумович. Вы совсем озябли... А знаете, какое самое уязвимое место в вашей версии?

— Знаю, — сердито пробормотал он. — Она многое не объясняет.

— Это бы ещё что! Главное — её практически нельзя применить. Понимаете, дорогой Моисей Наумович, словить бежавшего из тюрьмы какого-нибудь Фомку Блина наши доблестные органы ещё смогут... А вот ущучить беглеца из ада, да ещё вооружённого неведомым адским оружием... тут уж, простите, вся наша королевская рать не справится... И насчёт гласа народа. Не стоит разбрасывать перлы вашего воображения направо и налево. Неровен час, ещё попадёте кому-нибудь не в бровь... Ручаюсь, у нас в палатах, да и в ординаторских, уже разрабатываются подобные версии. А если ещё и вы с вашим

авторитетом...

— Отстаньте, Алексей Андреевич, — сердито прервал он меня. — Я не ребёнок и знаю, где можно, а где нельзя.

— Ну-ну, — сказал я, и мы расстались.

И всё же я был заведён, и абсурдная гипотеза Моисея Наумовича, не стыжусь в этом признаться, произвела на меня впечатление. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису, я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг, во время обхода, сообразил, что меня мучит. Да, сказочка моего друга была абсурдна, ни с чем не сообразна, но включала она в себя одно очень точное словечко, и словечко это было — ад. Правда, не в том смысле, в каком употреблял это словечко Моисей Наумович. Но всё равно, я интуитивно почувствовал, что именно от ада надлежит разматывать этот кошмар с Кимом Волошиным. Всё объясняет ад. И уже к концу обхода я объяснил себе всё.

Правда, легче мне не стало. Потому что объяснение моё страдало тем же изъяном, что и версия Моисея Наумовича: оно не могло служить руководством к практическим действиям...

## 17

*Не тушуйся, парень, заряжай женщину и стреляй из неё в белый свет. И она выстрелит пушкой или пушкарём, а они выстрелят своим чередом, тоже пушками и пушкарями, а те в свою очередь, и так оно и пойдёт, выстрел за выстрелом, пока белый свет не станет чёрным, а тогда, глядишь, и передышка наступит. Покой наступит, парень, понимаешь? Чёрный свет и покой! И чем скорее ты зарядишь свою женщину, а лучше не одну, побольше их зарядишь, тем скорее он наступит, покой.*

В тягостных мыслях своих протянул я почти до обеда, а тем временем город забурлил и накалился. Всё смешалось в моей больнице. Руки наши наполнились, закипела вода в радиаторе «скорой помощи».

Снова пошли петиции и делегации. Кое-где митинговали. Кое-кто сбивался в дружины. У терминала межгородского автобуса разгромили пивной ларёк. Двое раненых. Нужник подрался с пэтэушниками, и те всласть измочалили его приводными цепями. Возникло несколько пожаров. Трое обгорели, пятеро отравились дымом. С лесов пятиэтажника, возводимого на улице им. писателя Пенькова, сорвался пьяный рабочий. Тяжёлые переломы. Десятиклассники школы № 2 попытались обойтись бесчестно с молодой учительницей, недавно переведённой к нам из Еревана не по своей воле; оказалось, она владеет каратэ, четверо несостоявшихся насильников были доставлены в больницу с увечьями...

Наш мудрый Главный выразил своё общее мнение, что мораль в нашем городе резко упала, призвал нас собрать все силы и не размениваться на мелочи и укатил в исполком. И молва оказалась тут как тут и уверенно приписала весь этот бардак зловещему колдуну с чёрным глазом. Я-то всегда считал, что для доведения нашего города до свинского состояния вполне достаточно его собственных, внутренних сил, но теперь-то, в чём я мог быть уверен теперь?

Незадолго до конца рабочего дня в больницу поступили новые сведения. Принёс их рыжий долдон с крепко обмороженным носом и изложил санитарке, своей родственнице. Выяснилось, что около пяти вечера к мосту через Большой Овраг, отделяющий город от «Черёмушек», приблизилась угрюмая толпа человек в тридцать, вооружённая дрекольем, топорами и даже парой охотничьих ружей. Шла эта толпа разорить проклятое гнездо, разорвать проклятого колдуна в клочья, а заодно похерить его проклятую ведьмачку-жену и проклятый его помёт в лице глухонемой уродки. Никто этому смертоносному маршу карателей не препятствовал, только в отдалении опасно прятались в сумерках двое-трое милиционеров. Должно быть, с намерением засвистеть, когда всё будет кончено.

Толпа уже спускалась к мосту, но тут со стороны «Черёмушек» появилась ещё одна толпа, числом поболее, до полусотни, тоже вооружённых. Обе толпы, двигаясь навстречу друг другу, сошлись вплотную на середине моста и остановились. Полагаю, все они тряслись от возбуждения, были разгорячены, и пар от них валил, как от запалённых лошадей. Некоторое время длилось молчание, затем из толпы черёмушкинцев осведомились, зачем-де пожаловали. Городские изъяснились в своих намерениях и попросили пропустить. Заречные тихо, но решительно объявили, что не пропустят. Городские занялись любезным сердцу делом — принялись сладострастно и яростно материться. Им внимали — молча и терпеливо. Когда самые отпетые ругатели повыдохлись, черёмушкинцы по-прежнему негромко и внятно предложили городским поворачивать оглобли. Всё равно никто здесь не пройдёт.

Положим, подойдёте вы к его дому. И тут он бьёт вас всех скопом одним ударом. Забыли, что с собаками на Пугачёвке случилось?

В ответ городские очень обидно загоготали и засвистели, и кто-то крикнул, что насчёт этих собак никто не знает, правда это или нет. Было, однако, замечено, что несколько городских отделились от своей толпы и зашагали обратно в город.

С той стороны терпеливо напомнили, что, поскольку Ким Волошин является колдуном, никому не дано знать, что он может, а что не может, однако насчёт убиенных известно точно...

Тут оказалось, что среди городских затесались и материалисты, и один из них совсем непоследовательно объявил, что никаких колдунов на свете не бывает и потому навести концы Волошину препятствий нет. Теперь загоготали и засвистели черёмушкинцы. Каратели-ортодоксы немедленно сгрудились вокруг еретика и двух его клакеров, подвергли их укоризне и вытолкнули из своих рядов, и те, угрожающе сквернословя, поплелись обратно в город.

Между тем совсем смеркло, морозец стал пробирать до костей, на дне оврага густились угрожающие тени. И вообще пар уже ушёл в свисток, и ясно стало, что к «Черёмушкам» всё одно не пропустят, и хмель повыветрился. А тут ещё один из черёмушкинцев выступил вперёд, высморкался и произнёс:

— Разве мы за вас, дураков, распинаемся? По нам так хрен с вами со всеми, пусть бы вы все головы положили, не жалко. Но ведь он как? А вдруг по злобе и силе своей ударит не только по вам, дуракам, а разом по всему околотку? А у нас ведь здесь семьи, жёны, детишки, старики... До ваших домов в городе он, может, и не достанет, а нашим наверняка конец будет. Как же нам вас пропустить, сами подумайте...

И городские разом и молча, словно бы по неслышной команде, развернулись на сто восемьдесят градусов и пошли с моста обратно в город.

Так бесславно (или благополучно?) закончился первый и последний поход ташлинцев на логово колдуна Кима Волошина.

Тем же вечером, когда больница поуспокоилась после этого несусветного дня, я позвонил домой Алисе и предупредил, что вернусь поздно. Я очень устал, но желание поделиться своими соображениями с Моисеем Наумовичем распирало меня. Топили в районном пансионате хорошо, и в аскетически чистенькой, скудно обставленной комнатке Моисея Наумовича было приятно-тепло. Старик мне обрадовался и захлопотал насчёт чайку. Мы уселись за скрипучий столик, чай дымился в толстых фаянсовых кружках и разложено было по блюдечкам слегка засахарившееся варенье из чёрной смородины. Я сказал, зачем пришёл. Он остренько поглядел на меня, произнёс: «Ну-ну?» — и я принялся излагать.

Для начала я признал, что в его мистической версии содержится важное и рациональное зерно. Важное и рациональное потому, что послужило мне отправным пунктом для построения иной, вполне рационалистической гипотезы. Зерно это — представление об аде как причине и движущей силе «феномена Кима Волошина». Но ведь что такое ад? Вот у Кипплинга, если, конечно, перевод адекватный:

«Мы шли через ад, и поклясться я готов, что нет там ни ведьм, ни жаровен, ни чертей, там только пыль...»

Действительно, пусть Моисей Наумович не обижается, какие там черти и жаровни! Но не только пыль от шагающих сапог, хотя и пыли, конечно, было по макушку. Там ещё бросали гранаты в детей и оставляли бедняг выбираться из-под растерзанных трупов родителей. Там ещё ввергали за колючую проволоку в беспредельную власть подонков человечества, погрязших в кровавом скотстве. Там ещё бегали по крышам ядовитых пустых домов весёлые сумасшедшие, распевая дикие песенки. И много ещё чего было в аду, через который прошёл живым Ким Сергеевич Волошин...

Да, десятки миллионов сгинули там, и ещё сгинут миллионы, а вот Волошин не сгинул. Случайность, очевидно. Очень малая вероятность, не равная нулю. Волошин не сгинул, а превратился в бомбу, начинённую сумасшедшей ненавистью и паническим ужасом. И не адских слуг он боится, а новых угроз со стороны ада человеческого. И не оснащён он адским оружием, а сам превратился в оружие. И именно это вот обстоятельство сейчас для нас самое главное и самое мучительное.

Я замолчал, собираясь с мыслями. Это обстоятельство, самое главное и самое мучительное, подлежало ведению тех мрачных наук, в которых плавают не только провинциальный терапевт, но и талантливейший «лекарь мёртвых». Думать смутно о таких вещах может и абсолютный профан, а вот излагать эти мысли, да если ещё голова гудит от усталости... Словно почувствовав моё состояние, Моисей Наумович пошарил в шкафчике и водрузил на столик бутылку ликёра собственного изобретения и производства. Возле бутылки возникли рюмочки, которые старик аккуратно наполнил. «Лыхайм», — произнёс он шёпотом, и мы выпили. Было вкусно.

— Продолжайте, Алексей Андреевич, — сказал он. — Я вас внимательно слушаю. Очень внимательно.

— Очень трудно, — признался я, и рюмочки были снова немедленно наполнены.

— Да, конечно. — Моисей Наумович сочувственно покивал. — Бомба, начинённая ненавистью и ужасом, — это красиво, конечно, вроде ящика Пандоры, но это ведь только поэзия...

Я выпил и налил себе ещё. Я заговорил, тщательно подбирая слова и, надо надеяться, время от времени краснея.

Воздействия адских условий, в которых выпало пребывать Волошину, а точнее — комбинация этих воздействий произвела в его организме уникальную перемену. Психофизиологическая суть этой перемены нам неизвестна. Зато известны вполне достоверные случаи её проявления. Обретённый в аду дар позволяет Киму Волошину непонятным образом наносить удары, вызывающие: а) кратковременное выпадение сознания, б) полный или почти полный паралич памяти и, наконец, в) мгновенную смерть, диагностируемую медициной либо как следствие острой коронарной недостаточности, либо рефлекторной остановки кровообращения. (Моисей Наумович приятной улыбкой дал мне понять, что оценил мой сарказм.) Достоин упоминания и то обстоятельство, что в наблюдаемых нами случаях объектами ударов были лица, вызвавшие у Волошина приступы крайнего раздражения или прямой ненависти. Это, однако, ещё не даёт нам права утверждать с уверенностью, будто он не способен намечать и поражать жертву и с полным хладнокровием...

Я ещё раз (в который уже раз?) хлебнул несравненного ликёра, собрался с духом и произнёс деревянным голосом небольшое эссе на тему о том, что «феномен Волошина», строго говоря, не является беспрецедентным. Всемирно-исторический опыт даёт нам некоторые основания предположить, что во все века и во всех социумах существовали своего рода злые чародеи, имевшие власть при помощи неких таинственных заклинаний отдавать людям и животным приказ умереть, и люди и животные покорно умирали без признаков каких-либо повреждений. Секреты восточных магов... африканские колдуны... шаманы...

Моисей Наумович сказал с мягким укором:

— Простите, что прерываю вас, Алексей Андреевич. Но я хотел бы предупредить вас, что жидкость эта очень, оч-чень коварна...

Я в смущении уставился на опустевшую наполовину бутылку. Но бес разнужности уже овладевал мною. Я погрозил Моисею Наумовичу пальцем и плеснул себе коварной жидкости уже не в рюмочку, а в чайную кружку. Проглотив залпом и поцокав языком от удовольствия, я проговорил, старательно артикулируя:

— А вот у Лермонтова на такой случай сказано... «Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...» Таким образом, что мы имеем, Моисей Наумович? А имеем мы опять же поэзию. Чудище обло и даже, может быть, стозевно... в пересчёте на число жертв, которое оно способно схарчить одновременно. Собачки на Пугачёвке до сих пор, наверное, об этом помнят, на что уж у собачек память ни к чёрту... Рассказывайте мне об адском оружии! Вот оно, это ваше адское оружие, и никакой мистики... А Ким — он сам себе и беглец из ада, и адский слуга, и адское оружие...

Тут я понял, что иссяк, очень утомлён и что мне пора домой.

По пути, стараясь ступать твёрдо и уверенно, напевая какую-то легкомысленную чушь, я вдруг заметил, что за мной увязалось несколько собачонок. Они следовали в отдалении, они не лаяли и, конечно же, не норовили ухватить меня за пятки. Они трусили позади совершенно бесшумно, а когда я оборачивался, с жалобным прискуливанием бросались кто куда в лунные тени...

## 18

*По облику был он похож на непроспанного мертвеца: жёсткие волосы дыбом, бледная с прозеленью физиономия в засохлых пятнах, неподвижные тухлые глаза. Ходил и бормотал: «Не убий, не убий, не прелюбы сотвори...» Юрод.*

Дня через два Ким нанёс городу ответный визит. Вспоминать об этом тоже не хочется, но тоже надо.

Около полудня он появился на проспекте Изотова в обычном своём оранжевом тулупе до пят и чудовищной своей шнурковой шапке. Облачение это было известно половине ташлинцев хотя бы и по слухам, и наиболее смелые из встречных проходили мимо, уставив взоры прямо перед собой, а малодушные торопились свернуть в переулки или занырнуть в магазины. А направлялся Ким домой в Черёмушки, возвращаясь из жалкой нашей районной «Оптики», где он ещё месяца три назад заказал очки для своей жены Люси. Заходил он в «Оптику», как впоследствии выяснилось, раз двадцать за это время, да всё втуне: то оправы не было подходящей, то линз, а чаще всего ни того, ни другого. В тот день поучился у него с продавцом такой разговор.

— Чтобы завтра очки были, — сказал он.

— Завтра будут, — хмуро, но с готовностью отвечивал продавец.

— Чтобы завтра очки были доставлены мне домой к двенадцати, — сказал он.

— Будут доставлены, — сказал продавец.

Ким указал пальцем на высунувшегося из мастерской парнишку-ученика:

— Вот пусть он доставит.

Парнишка, посинев от ужаса, отчаянно затряс головой. Продавец набычился.

— Я сам доставлю, — сказал он.

Ким безрадостно оскалился.

— Ладно, — проговорил он. — Ты сам и доставишь, старик, козь ног не жаль. И запомни: доставишь вовремя — воля; вынудишь меня снова к тебе тащиться — уже неволя; не исполнишь заказ — смерть.

Продавец побледнел, но ответил с достоинством:

— Вы меня не пугайте, гражданин Волошин. Меня немецкие танки не испугали. Сказал — доставлю, значит, доставлю.

На том они и расстались. Продавец принялся работать с великолепной оправой, предназначенной для старшей дочери начальника милиции, а Ким отправился восвояси.

Кажется, впервые повёл он себя столь откровенно и вызывающе, впервые обнажил оружие. Так, с обнажённым оружием, и двинулся по проспекту Изотова. Весть уже распространилась, народу на проспекте стало немного, никому не хотелось попадаться на глаза этому бесу, и маячили отдельные фигуры шагах в двадцати позади него да поспешно расходились фланирующие шагах в тридцати впереди. И надо же было случиться, что к нему прицепился известный возмутитель спокойствия иеговист Панас Черкасенко...

Ким шёл обычным своим широким шагом, а коротышка-иеговист вприпрыжку поспевал за ним и визгливо вещал. Что-то об армагеддоне. О каких-то ста сорока четырех тысячах. Об обновлённой земле. Ким шёл себе, словно ничего не слыша, а потом, не останавливаясь, отрывисто произнёс несколько слов. Проповедник подпрыгнул, воздел руки горе, словно бы в крайнем возмущении, снова нагнал Кима и снова принялся вещать. Те, кто наблюдал эту сцену, затаили дыхание, кое-кто остановился, кое-кто попятился.

И точно. Панааса Черкасенко вдруг повело влево, как пьяного, боком-боком засеменял он на подгибающихся ногах и вывалился на проезжую часть в аккурат под громыхающий на полном ходу самосвал. Злосчастный проповедник даже не вскрикнул, лишь явственно хрустнули его сокрушаемые кости под громадными колёсами. Скрежет, визг тормозов, и на проспекте Изотова воцарилась тишина. И тогда жалостливо-испуганный стон извергся из грудей наблюдателей, а Ким, даже не оглянувшись, пошёл дальше и вскоре свернул на улицу им. писателя Пенькова, по которой был кратчайший путь к мосту через Большой Овраг...

Но не гибелью свидетеля Иеговы заключился его выход в город. Улица им. писателя Пенькова у нас узкая, а в те времена ещё и перекопанная строителями, и прохожие-очевидцы наблюдали то, что произошло, можно сказать, в упор. Со стороны проспекта Изотова донеслись завывания сирены то ли ГАИ, то ли «скорой», когда Ким ступил на бугристую тропинку, протоптанную в снегу вдоль фасада возводимого пятиэтажника, того самого, с которого накануне сверзился пьяный строитель. Ким ступил, прошёл, оскользаясь, несколько шагов и внезапно замер на месте.

Он простоял секунд пять, когда сквозь клетку лесов вылетела из оконного проёма на третьем этаже страшного вида колода — вроде тех, какими пользуются в своём ремесле мясники. Она грянулась на тропинку едва ли не под нога Киму, подскочила и выкатилась на середину улицы. Ким на миг поднял голову и как будто взглянул в ту сторону, откуда она вылетела, после чего пошёл дальше своей дорогой.

Ошеломлённые прохожие-очевидцы провожали его взглядами, пока он не скрылся из глаз, и только тогда услышали жалобные вопли и мольбы о помощи, доносившиеся из недр новостройки. Мнения разделились. Кто-то настаивал на том, чтобы позвать милицию. Кто-то предостерегал от опрометчивых поступков. Кто-то просто ушёл от греха. Но нашлись и смелые. Не без трепета вступили в дом и поднялись на третий этаж, где обнаружили трех молодцов в испачканных чёрных полушубках. Молодцы бродили по комнатам, ощупывая стены грязными ладонями. При этом они громко рыдали, срываясь в истерику, и опухшие мордасы их были измазаны слезами пополам со строительной пылью. Они были насмерть перепуганы: никак не могли найти дверь, чтобы выйти на улицу...

Здесь необходимо маленькое отступление.

Не знаю, как в других столицах, но в нашем областном Ольденбурге эта разновидность общественных деятелей появилась вскоре после 85-го, причём в количествах, далеко превышающих желательные. Большею частью рекрутируется она из бывших спортсменов и несостоявшихся тренеров по боевым видам спорта. Зимой они щеголяют в чёрных полушубках, которые называют «романовскими», — это щегольство патриотическое, бросающее вызов заграничным дублёнкам. Роятся они возле мебельных магазинов, в железнодорожных пакгаузах и при оптовых складах продовольствия и спиртных напитков.

По вечерам любят бывать в престижных ресторанах, где при обычных обстоятельствах ведут себя спокойно и тихо. Пьют немного, закусывают деликатесно, курят только «Мальборо». Столики занимают не самые удобные, но расположенные на стратегических направлениях... Можно, конечно, гадать, кто нанял в Ольденбурге этих оболтусов с микроскопическими мозгами и чугунной совестью, но как медик я утверждаю, что больше не отираться им по мебельным делам, и не сидеть в дорогих ресторанах, и не курить «Мальборо»...

Часа в четыре пополудни, уже отягощённый всей этой информацией, я заперся в своём кабинете. Мне было худо. Если бы душевное состояние моё проявилось в телесных движениях, я бы трясся, как от сильного озноба. Но мне удавалось сдерживать себя. Мало того, я с неясным удивлением осознал, что не так уж меня поразила гибель проповедника-иеговиста и моментальное низведение сразу трех человек до уровня клинического идиотизма. Нет, всю душу мою затопил вполне эгоистический ужас за себя и за моих близких. Неуловимый, неуязвимый, непостижимый бес открыто расхаживал между людьми, и невозможно было предсказать, кто будет очередной жертвой его. И ещё: он чуял опасность за несколько секунд до нападения.

А ведь ещё не было известно, что произойдёт этой ночью. Мало кто знал, что не трое, а целых семнадцать «чёрных полушубков» наехало в наш Ташлинск. Как видно, потеря троих не произвела на остальных должного впечатления, и примерно в полночь весь отряд гангстеров двинулся к мосту через Большой Овраг. И там, на середине моста, Ким их стукнул. Надо полагать, не выходя из дому. Но эти четырнадцать отделались легко. Полежали в снегу, поднялись на трясущиеся ноги и пустились без оглядки обратно. Некоторые слегка поморозились, кто-то потерял шапку... Утром они дружно погрузились в автобус и отбыли к себе в Ольденбург.

## 19

*Козерог. Начнёте пожинать плоды своей работы. Это вдохновит вас на новые трудовые подвиги. Вам очень помогут друзья и коллеги. Будьте поласковее с родными и близкими, чтобы не только на работе, но и дома всё было в лучшем виде.*

А в тот день я сидел в своём кабинете, смотрел, как за окном сгущаются сумерки, с тоской прислушивался к сосанию под ложечкой и никого к своей особе не допускал. Потом позвонил Моисей Наумович и попросил разрешения зайти для важного разговора. Ему я, конечно, открыл, мы уселись у стола и уставились друг на друга.

— Ну что, Моисей Наумович? — спросил я наконец.

— Обыкновенная история, — горько ответил он. — Лёгкая эпилепсия, выпадение сознания, непослушные ноги выносят беднягу под грузовик.

— Я, собственно, не об этом.

— И я тоже хотел не об этом. Вы обратили внимание, Алексей Андреевич, что он остановился секунд за пять...

— Да. Обратил.

— Вот и я обратил. И я не понимаю, Алексей Андреевич, чем такая вот странность противоречит моей гипотезе...

— Да я уже и сам не понимаю, — рассеянно отозвался я. Спорить не было сил.

— И всё равно, — пробормотал Моисей Наумович. — Всё-таки это скотство — наёмных убийц подсылать...

Я был изумлён.

— Моисей Наумович, рада Бога!..

— Да-да, — торопливо прервал он меня. — Вы правы, конечно.

Мы помолчали.

— Я, собственно... — нерешительно проговорил он. — Собственно, я пришёл насчёт

совсем другого.

— Слушаю со вниманием, Моисей Наумович.

— Собственно, я решил с ним повидаться.

— С кем?

Сердце моё замерло. Я сразу понял — с кем.

— С ним, — как-то растерянно, словно удивляясь себе, произнёс Моисей Наумович. —

С Волошиным.

— Вы с ума сошли...

— Отчего же? Я ведь в душе против него ничего не держу. Я только за людей опасаюсь.

— И вы намерены... к нему? Прямо к нему домой?

— Да, конечно. Он ведь ко мне не пойдёт, правда?

У меня голова шла кругом. Остановить! Удержать!

— А если он антисемит? — ляпнул я.

— Что ж, одним евреем в Ташлинске будет меньше.

— Да вы кокетничаете, Моисей Наумович!

— Какое там моё кокетство, милый Алексей Андреевич! Страшно мне очень, вот вам и кажется. Только что ж? Дедушка старый, ему всё равно.

И тогда я собрался. Отчётливо скрежетнула, распрямляясь, моя проржавевшая, согнувшаяся в три погибели воля. И я сказал:

— Хорошо. Только пойдём вдвоём. Вы правы, надо попробовать все точки над этим «е» поставить.

Последовала сцена. Я дошёл до того, что принялся грубить. И я уломал старика. Решили отправиться к бесу в гости вдвоём, завтра же, сразу после работы. Не знаю, как спал в ту ночь Моисей Наумович. А я вряд ли провёл ту ночь намного веселее, чем «чёрные полушубки» на мосту через Большой Овраг...

Путь был неблизкий, да и шли мы весьма неторопливо, так что вступили в «Черёмушки», когда уже совсем стемнело. Тихо было в «Черёмушках», ни голосов не было слышно, ни звонких скрипов снега под ногами прохожих, а собаки здесь словно никогда и не водились. Тишину компенсировал свет. Необычайно, непривычно ярко сияли уличные фонари, ослепительными, жуткими, как выстрелы, вспышками неисправных дневных ламп прерывисто озарялись пустые витрины магазинов, жужжали от напряжения уцелевшие лампочки над подъездами. И никого мы не видели по дороге, только раз я заметил в проулке машину с погашенными фарами и возле неё едва различимую тёмную фигуру. Мимолётно подумалось, что за домом Волошина наблюдают.

Наконец мы добрались. Вступили в подъезд и стали подниматься по лестнице. Поднимались медленно, через каждые пять-шесть ступенек останавливались, чтобы дать передохнуть Моисею Наумовичу, которого сразу начала мучить одышка. Лицо у него, хоть и с мороза, было серое. И я снова со страхом подумал о всяких возможных и невозможных неожиданностях, которые сейчас нас поджидали. Мы поднялись на предпоследнюю площадку и остановились.

На площадке третьего этажа стояла объёмистая бабища, смотрела на нас сверху вниз и приветливо ухмылялась всем своим блиноподобным ликом. Я догадался, что это тётка Дуся, о которой рассказывала наша Грипа: кто же ещё на ночь глядя мог торчать перед дверью квартиры колдуна и беса? И я произнёс:

— Добрый вечер, тётя Дуся.

Она ответила, ухмыльнувшись ещё шире:

— Добрый вечер, Алексей Андреевич. Добрый вечер, Моисей Наумович. А Ким Сергеевич уже ждут вас, проходите, пожалуйста...

Мы со стариком переглянулись и поспешно отвели глаза друг от друга. Удивляться? Ещё чего. Пугаться? Куда уж дальше. Восхищаться? Это бы и можно было, наверное, но у меня, по крайней мере, Ким не вызывал этой счастливой эмоции. Не Кио. Не Мессинг. Бес,

губитель, невнятная смертельная угроза. И вообще, если на пороге бесовского логова начинать с удавления, или страха, или тем более с восхищения, то кончать уже нужно будет целованием стоп. Или там копыт. Вон на шабашах, по слухам, беса целуют в задницу. Нет, это не для нас.

— Пошли, — сипло выдохнул Моисей Наумович, и мы без остановок одолели последний пролёт.

Тётка Дуся метнулась к двери Волошиных и деликатно нажала кнопку звонка.

— Пусть войдут, — тихо отозвался знакомый голос.

Дверь распахнулась, и мы вошли в прихожую, а тётка Дуся осталась на лестнице.

— Сюда, — приказал Ким.

Обстановку в квартире Волошиных я помню смутно. Чистенько, аккуратно, занавесочки, цветные репродукции в рамочках, под ногами половички... И так же почти не задела моего сознания бледная Люся в домашнем халатике, сидевшая на кровати, и совсем почти не заметил я крошечную девчущку у неё на коленях, обнимавшую мать за шею тонкими белыми руками...

Страшное возбуждение овладело мною. Нетерпение, чтобы всё поскорее кончилось. Всё внимание моё сошлось на бывшем моём школьном друге Киме Волошине. Господи, когда я в последний раз видел его? — думалось мне. Два, три года? Пять лет назад? Сейчас он казался мне непомерно громадным. Он сидел у стола, зеркально лысый, с чёрной бархатной повязкой через лицо, в застёгнутом доверху фиолетовом архаике. Разглядывал нас воспалённым глазом и кривил в неприятной усмешке узкие сухие губы.

— Раздеваться не приглашаю, — сказал он. — Разговор будет короткий. Чаю-водки тоже не предлагаю. По той же причине...

Он повернулся к жене и произнёс повелительно-ласково:

— Люся, мне тут с докторами пошептаться надо, так ты возьми Таську и посиди у Дуси, я потом позову.

Она тут же ушла с ребёнком, и дверь за нею закрылась. Он помолчал, склонив голову, словно прислушиваясь. Лицо его сморщилось, и он проговорил с ужасным сарказмом:

— Следят. Стерегут. Трясутся, штаны полны, а всё стерегут. Ох, боюсь, обижусь, осерчаю... Вы, как возвращаться будете, скажите им, чтобы убিরались. Они рядом, за углом... Скажите, срок даю до полуночи. Дольше мне не удержаться.

Я вспомнил машину и тёмную фигуру в проулке и прохрипел:

— Я им скажу.

— Вот и ладно. Сорок грехов с меня снимешь, всё равно что паука раздавлю. Хотя, если подумать, что мне сорок грехов?...

Он поглядел на Моисея Наумовича.

— С тебя разговор начнём, старичок. Полагаешь, значит, что я из ада бежал? Ошибаешься, Мойша, брешешь. Не более я бежал из твоего ада, чем младенец при родах бежит из материнской утробы. Подробнее объяснить не умею, так что понимай как хочешь. Теперь второе твоё дело, Мойша. Проникся ты сочувствием к своим ташлинским компатриотам и пришёл упросить меня покинуть город и удалиться в иные края... А куда мне удалиться — об этом ты подумал? Хочешь просто пересадить скорпиона со своей шкуры на кого Бог пошлёт? На хохлов? На прибалтов? На эвенков каких-нибудь? Конечно, лучше бы скорпиона туда, за бугор, так поступают советские люди, ага? Ты ведь правильно понял, Мойша, я везде сам собою останусь, измениться не могу!

Он скрипуче хохотнул и повернулся ко мне.

— Помнишь, Лёшка, мы после войны фильм такой смотрели, трофейный, «Мститель из Эльдорадо»? Там один герой, мексиканский атаман, говорит: «Как увижу китайца, удержаться не могу, сразу ему уши отрезаю...» Помнишь?

— Так ты что же — мстишь? — проговорил я.

— Дурак, — ответил он, как мне показалось, разочарованно. — Ничего не понял. Я ему об ушах, а он мне о мести... Ладно, проехали.

Отчаяние овладело мною.

— погоди, Ким! — закричал я, задыхаясь. — Пстой, выслушай меня! Уши там, месь — не об этом же речь! Ким, нельзя же становиться врагом всем людям! Уходи, где тебя не знают, затаись, замри! Горе тебе, если все против тебя ополчатся! Горе и тебе, и людям! Подумай о жене, о дочке... Отрекись от силы, которой ты владеешь! Ты же был славным парнем, Ким... Вспомни о бедной Нине своей, она бы никогда тебе не простила!

Я орал, не помня себя, а его бледное голое лицо наливалось сине-багровой кровью.

— Лёшка! — просипел он. — Ты меня лучше не раздражай!

Моисей Наумович испуганно посунулся вперёд, словно бы вознамерившись встать между нами.

— Отзынь, Мойша, не замай! — рявкнул Волошин. — А ты, Лёшка, придержи язык, худо будет!

— А что? — прошептал я, храбрясь из последних сил. — Что, поступишь со мной, как с собачками на Пугачёвке? Или как с Барашкиным? Или как с девочкой соседской? Так угощайся, мой злодей, не стесняйся, мой славный!..

Я уже чувствовал это. Чувствовал приближение гибели. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли красные пятна, противная слабость поползла от ног по всему телу. И вдруг Моисей Наумович сорвался с места.

— Одну минуточку, одну минуточку! — завопил он пронзительным фальцетом. — Ким Сергеевич! Алексей Андреевич! Ну, погорячились, и будет! Давайте прервёмся! Давайте расслабимся! Давайте я вас развлеку немного!

Он сбросил свою шубёнку, засунул большие пальцы костлявых рук под мышки и запел, приплясывая:

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!  
Ицок, Ицок, старушек ты наш!  
Иаков, Иаков, отец ты наш!  
Хаиме, Хаиме, пастушок ты наш!  
Чому ж вы не просите, чому ж вы не просите,  
Чому ж вы не просите пана Бога за нас?

Скрипучим старческим фальцетом пел он, потомок местечкового балагулы, эту печально-шуточную песенку, дошедшую до него из далёких времён черты оседлости вместе с варварски переименованными тайнами каббалы и простодушно-хитрой покорностью судьбе. Я слышал её не впервые, несколько раз он под весёлую руку пел её на семейных праздниках в моём доме, но можно было ручаться, что Ким Волошин не слышал раньше ничего подобного. Приоткрыв рот и выпучив налитый глаз, он слушал и смотрел, как пляшет старик, высоко вскидывая ноги в поношенных брючках и старомодных суконных ботах. И я ощутил, как гибель отдалилась и пропала, оставив только струйки холодного пота, стекавшего по щекам моим...

...Чому ж вы не просите пана Бога за нас?  
Чтоб наши дома выстроили, нашу землю выкупили,  
Нас бы в землю отводили,  
В нашу землю нас, в нашу землю нас!

— Всё, — проговорил Моисей Наумович запышливым голосом, отступил к своему стулу, сел и подобрал с пола шубейку. — И концерт окончен.

И тогда Ким загоготал. Минут пять гоготал он, раскачиваясь и вытирая рукавом глаз, кашляя и богохульствуя сквозь кашель. Мы молча смотрели на него и тоже утирались. Отгоготовавшись, он произнёс:

— Силён. Тут ты меня сократил, Мойша, спасибо тебе. Сам догадался? Или интуиция?

Ведь ещё чуть-чуть...

— Не приведи Господь, — скромно отозвался Моисей Наумович. — Но я рад, что развлёк вас, Ким Сергеевич. Всегда к вашим услугам.

Ким поглядел на него исподлобья.

— Больше не потребуется. Ладно, чёрт с вами, с докторами. Информация в порядке компенсации. Я уйду. Совсем уйду из городишки этого поганого. Но имейте в виду и передайте кому интересно: руки у меня теперь длинные. Я могу... — Он судорожно перевёл дыхание. — Я далеко теперь могу. Откуда угодно.

Мы молчали. Моисей Наумович натягивал свою шубейку. Бес вдруг растянул безгубый рот неуютной усмешкой.

— А ты, Мойша, силён. Действительно развлёк. Я даже пожалел, что Таська не видела. То-то бы повеселилась... убогонькая... Радостей у неё маловато, а подумать если, то и совсем нет. Ну и всё, доктора. Аудиенция окончена. Вопросов нет и быть не может. Разрешаю удалиться.

Мы без единого слова двинулись к выходу. Он сказал нам вслед:

— Можете сказать им, собираю этим, что в «Урале»... гостиница «Урал», знаете?

Моисей Наумович тихонько произнёс:

— Знаем. Гостиница «Урал». На площади.

Бес раздражённо махнул рукой.

— Ладно. Сами найдут. Ступайте.

Мы вышли и стали спускаться по лестнице. Я открывал с натугой наружную дверь, когда до нас донёсся сверху зычный голос, звавший Люсю домой. И мы пустились в обратный путь.

Не знаю, как Моисей Наумович, а я пребывал в состоянии полной растерянности. Я был угнетён, испытывал чувство облегчения и терзался раздражением оттого, что ничего не прояснилось и ничего нового я не узнал, а только ни за понюх табаку натерпелся страха. Из этого сумеречного состояния вывел меня Моисей Наумович, осведомившийся о моих впечатлениях. Я очнулся. Я обнял старика за костлявые под шубейкой плечи. Я расцеловал его в колючие щёки.

— Моисей Наумович! — вскричал я. — Дорогой вы мой! Вы же мне жизнь спасли!

— Не отрекаюсь, — отозвался он, деликатно высвобождаясь. — Как в классике. «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Что было, то было. Момент действительно был тонкий. Я подумал: пан или пропал. И угодил в десятку. Видите ли, Алексей Андреевич, я ещё раньше подозревал, что спусковой механизм этого самого адского оружия...

Мы медленно шли по пустой, ярко освещённой улице, когда дорогу нам преградил не кто иной, как мой лейтенант С. Был он в ладном белом полушубке, стянутом кожаной сбруей, чёрная кобура была у него сдвинута к пряжке, раскрыта, и виднелась в ней рукоятка пистолета. Он набежал на нас и, схватив меня за рукав, воскликнул:

— Здравствуйте, доктора! Живы? Целы?

— Почти что, — ответил я.

Тут я вспомнил и огляделся. Вправо уходил проулок, там по-прежнему стояла легковушка.

— Я сразу понял, куда вы направляетесь, — продолжал лейтенант. Он так и подпрыгивал от возбуждения. — Хотел было остановить, да смутился, запрос сделал... Снова выбегаю, а вас уже нет. Ну, как там было? Что он? Грозен?

Внезапно я почувствовал страшную усталость. И Моисей Наумович тоже едва держался на ногах. А до дома километров пять.

— Слушайте, лейтенант, — сказал я. — У вас там машина. Отвезите-ка вы нас по домам.

Он растерянно посмотрел на меня, затем на Моисея Наумовича, затем снова на меня.

— Я бы с радостью, Алексей Андреевич, — промямлил он. — Но у меня здесь, видите

ли, пост...

— А хоть бы и широкая масленица, — проворчал вдруг Моисей Наумович. — Сколько времени сейчас?

Лейтенант с готовностью заглянул под рукав.

— Половина двенадцатого. А что?

— А то самое, молодой человек, — сказал мой старик. — Если не хотите на мой «скорбный стол», уезжайте отсюда с максимальной скоростью. Он предупредил, что терпеть вас здесь будет только до полуночи.

Лейтенант С. прекрасно знал, что такое «скорбный стол». И он верил в медицину. Он повернулся и бегом бросился в проулок.

— Насчёт машины, — сказал Моисей Наумович, глядя ему вслед, — это была прекрасная идея. А то я, признаться, несколько утомился. И зябко мне как-то... Старость — не радость... Ну, а возвращаясь к нашему разговору, позволю себе вам попенять. Вы вели себя неосмотрительно. Это благородно, конечно, — задом амбразуры затыкать... из гордости там или от особенной щепетильности, но, согласитесь...

Я во всём с ним соглашался. Я любил его. У меня слёзы выступили на глазах. Я снова обнял его и похлопал от избытка чувств по лопаткам. А тут и дверца легковушки хлопнула, вспыхнули фары, и машина, выкатив на улицу, остановилась перед нами. Распахнулись дверцы, и молодой радостно-испуганный голос воззвал:

— Садитесь, товарищи доктора!

Пока мы усаживались, лейтенант С. сообщил:

— Приказано всем немедленно возвращаться.

Машина тронулась и с места взяла скорость. Мы покатали вниз, к мосту через Овраг. Я заметил, что откуда-то выползли и устремились следом за нами ещё три машины...

Тем и закончился для нас этот жуткий вечер. Конечно, никуда мы с Алисой не отпустили Моисея Наумовича, а напоили огненным чаем с огненной водой и уложили в постель, навалив на него все покрывала и шубы, какие нашлись. Утром он встал здоровым, бодрым и склонным к философическим размышлениям.

## 20

*Большой живот да тощий фаллос*

*Вот всё, что от него осталось.*

*И знает пасмурное тело:*

*Конец развенчивает дело.*

Вот и всё, пожалуй, что мне известно о ташлинском феномене, как пышно поименовал эту эпопейку покойный майор С. Так или иначе, опрометчивое обязательство своё я выполнил. В меру своих сил, памяти и суждений. Что ещё?

Считается, что 29 января 87-го года Ким Волошин бесследно исчез. По-моему, никого это не огорчило. Поскольку ни в одном автобусе его не заметили, надо полагать, что он покинул наш город на попутке. Хотя, может быть, я готов и в это поверить, уплыл на облаке или передвинулся каким-нибудь ещё более противоестественным образом. Но, скорее всего, думаю, уехал на попутке.

Как и следовало ожидать, город успокоился далеко не сразу. Довольно долго ещё обыватели жили с опаской, оглядкой и в готовности претерпеть. Масла в огонь подливали кликуши, паникёры и вообще жаждущие популярности, утверждавшие, будто своими глазами видели злокозненного беса вчера, сегодня, неделю назад, причём в самых странных местах: то верхом на трубе райкома («и галушка в зубах»), то проезжающим на персональном лимузине нашего мэра, то даже в женском туалете театра... Словом, всё это были чепуховые слухи, и возникали они в течение двух-трех месяцев, пока не смешались неразличимо в одно месиво из летающих тарелок, экстрасенсов, ходоков с кладбища,

вурдалаков из скотомогильника и так далее...

Но была информация вполне достоверная.

На другой день после исчезновения Кима Волошина в номере гостиницы «Урал» был обнаружен труп. Человек средних лет с явно семитскими чертами лица, облачённый в отличного покроя костюм. Лежал на полу в нелепой позе, словно смерть накрыла его, когда он заглядывал под диван. При трупе оказался паспорт на имя Ильи Захаровича Гершзона, командировка в Ташлинскую райзаготконтору и обратный билет на авиарейс Ольденбург — Москва. Покойного доставили к нам в прозекторскую. Моисей Наумович определил время смерти: около двух суток до обнаружения. Причина смерти: острая коронарная недостаточность.

Компетентные люди провели расследование. Выяснилось, что гражданин Гершзон отметил командировку в конторе неделю назад и больше там не появлялся. Что организации, командировавшей гражданина Гершзона, в природе не существует. Что паспорт его хотя и подлинный, но не его паспорт. Ещё нашлись свидетели, видевшие гражданина лже-Гершзона дня за четыре до его смерти в Черёмушках в компании с пресловутым К. Волошиным. Мы посоветовались с Моисеем Наумовичем и решили с нашей информацией не высовываться. Следствию это бы не помогло, а нервы нам потрепали бы...

Вторая достоверная история касается Люси Волошиной.

Люся со своей глухонемой дочкой осталась жить в памятной нам квартирке. К чести дома, отношение к ней сложилось прекрасное. Возможно, потому, что её сочли околдованной, обманутой и покинутой. Существовала она очень скромно, но не нуждалась. Её прямо спросили, и она прямо ответила, что беглый муж оставил ей на прожитые небольшие вклад в сберкассе. Дом умилился: злыдень, видно, не совсем совесть потерял. И вопрос на этом закрылся. И никто не упрекал соломенную вдову за то, что не работает, а сидит дома с убогим ребёнком. Ей даже кое-что подкидывали из продуктов; особенно суежилась вокруг неё тётка Дуся. Да и мы с Моисеем Наумовичем, когда наступила весна, заходили иногда с лакомствами для девочки...

Как вдруг однажды летом нагрянули к Люсе её несостоявшиеся свёкор и свекровь, родители Тасинога отца, убиенного в Афгане. Нагрянули и потребовали себе внучку, а заодно и внучкину жилплощадь. Но тут возникла тётка Дуся, и начался другой разговор. Сбежались на крик соседки и с ходу включились. Под их мощным натиском пожилая пара ретировалась, угрожая прокурором. И вот что случилось тем же вечером. Несостоявшегося свёкра хватил тяжёлый паралич, а несостоявшаяся свекровь по пути в отхожее место упала и сломала ногу. Узнав об этом, мы только переглянулись. Лицо у Моисея Наумовича посерело и осунулось. Моё, наверное, тоже...

Через неделю Моисей Наумович слёг. Я понял, что он умирает. И он понял, что умирает. Я переселил его из районного пансионата к себе, взял отпуск. Сидел рядом с ним все последние дни и часы. В девять вечера первого июля он сиплым голосом спел: «Авраам, Авраам, дедушек ты наш...» Помолчал и спел: «Чому ж вы не просите пана Бога за нас...» И ещё он спел едва слышно: «Нас бы в землю отводили... в нашу землю нас...» И он закрыл глаза и умер. Что-то вроде улыбки было на его иссохшем лице, и вот тогда я подумал, что он был рад уйти из мира, где бесы невозбранно разгуливают среди людей.

А ещё через неделю ко мне в больницу пришла Люся Волошина. С Тасей, конечно. Обе аккуратненькие, чистенькие, серьёзные.

— Мы попрощаться пришли, Алексей Андреевич, — сказала Люся. — Уезжаем. Совсем.

Я спросил — куда.

— Родственник у нас объявился. Вызвал нас к себе.

— Что ж, счастливо, Люсенька, — сказал я.

Она вдруг оживилась.

— А вы знаете, Алексей Андреевич, Тасенька-то моя слышит уже! И говорить будто начала... Тася, скажи что-нибудь!

Тася пролепетала непонятное, и я выразил восхищение. И они ушли. Конечно, я понял, какой это родственник у них объявился. И хорошо. Лишь бы подальше от нашего Ташлинска...

А время бежит. Вот уже и лето 89-го катится к концу. Никто не вспоминает про Кима Волошина. Сейчас всё больше митинги, да ещё водочный вопрос нас портит. И то сказать: довлеет дневи злоба его. Вот хоть бы я. В прошлом августе нашего Главного, дурака и труса, прибрали, наконец, в облздрав. А Главным назначили меня. Теперь в нашей больнице главного дурака и главного труса играю я.хлопотливая роль, доложу я вам.

Что делать! У меня моя Алиса. У меня моя дочка. У меня умный серьёзный зять, тоже врач. У меня мой любимый внук Санька. Надежды маленький оркестрик под управлением любви... Но бродит, бродит где-то по нашей планете этот жуткий бес, порождение земного ада, психобомба непрерывного действия!

А вы знаете, наша сестра-хозяйка Грипа женила-таки на себе Тимофея Басальгу по прозвищу Нужник. Она лупит его палкой от метлы и ходит получать его зарплату.

На этом заканчиваются записки главного врача Ташлинской больницы А.А. Корнакова, выполненные по настоянию майора милиции С., ныне покойного. Записки эти, несомненно, несут на себе печать известной загадочности, но ещё более загадочными представляются обнаруженные при них приложения, которые произвольно названы здесь тремя эпилогами. Авторство этих эпилогов установить не удалось.

## **Эпилог первый (фантастический)**

*Действие происходит в жаркий летний день в Москве на конспиративной квартире. Наличествуют: полковник Титов (КГБ), полковник Плотник (Моссад), полковник Хайтауэр (ЦРУ).*

*Хайтауэр, изнемогая от жары, полулежит на диване и обмахивается журналом. Плотник сидит напротив него в кресле, водрузив скрещённые ноги на низкий круглый столик. Титов нервно расхаживает по комнате.*

**Х.** *(расслабленным голосом):* Моё мнение — кто нагадал, тому и расхлёбывать.

**Т.** *(раздражённо):* Опять двадцать пять, за рыбу деньги! Мы же не возражаем! Но тогда, полковник, на кой чёрт вы в Москве?

**Х.** : Опять двадцать пять. Нам нужна информация! Надо же нам знать, как действовать, если этот ваш бес всё-таки вынырнет на Западе...

**Т.** : Нет у нас такой информации, полковник! Сколько можно долбить одно и то же?

**П.** : Пока не забрезжит истина, полковник. Он где сейчас?

**Т.** : В окрестностях Краснодара.

**Х.** : Это на Енисее?

**Т.** : В окрестностях Краснодара, я сказал, а не Красноярска!

**Х.** : Это я уловил. На Енисее?

*Титов безнадёжно машет рукой.*

**П.** : Краснодар на Кубани. А на Енисее Красноярск. Вы, я вижу, тот ещё знаток России, полковник.

**Х.** : Ага... Кубань... Минуточку!

*Он достаёт из портфеля атлас и принимается листать.*

*Плотник обращает лицо к Титову.*

**П.** : Слушайте сюда, полковник, неужели здесь не найдётся пары бутлов холодного пивка?

**Т.** : Пары... чего?

**П.** : Пары склянок, если так вам понятнее.

*Титов идёт к могучему холодильнику в углу, заглядывает в камеры, злобно оскаливается.*

**Т.** : Всё вылакали, подлецы... Водка вот есть ледяная. Будете, полковник?

**П.** : Временно воздержусь, полковник. Водка...

**Х.** : Минуточку внимания. Вот. Краснодар действительно стоит на Кубани. И что интересно, здесь имеется обширное водохранилище. Сама собой напрашивается идея. Определить точно местопребывание объекта. Затем десяток ловких ребят... У вас найдётся десяток ловких ребят, полковник? Если не найдётся, я пришлю своих. Они доберутся до объекта по дну этого озера, спустятся по Ени... э-э... по Кубани и всё в два счета обделают.

**П.** : И к утру тёплые воды Кубани вынесут десяток трупов в Чёрное море.

**Т.** : Не вынесут. Там плавни. Так и останутся бедняги гнить на плавнях.

**Х.** *(смущённо, но агрессивно)*: Это почему же непременно трупы? Они же приблизятся под водой...

**Т.** : Засечёт, полковник, как пить дать засечёт. И тут же ударит. Никто и пикнуть не успеет.

**Х.** : Но разве психоволны через воду проходят? Радиоволны, например...

**П.** : Радиоволны и психоволны — две большие разницы, полковник.

**Х.** : Это что — точная информация?

**Т.** *(мрачно)*: Самая точная.

**Х.** : Ну вот видите, кое-что всё-таки известно...

**П.** : Методом проб и ошибок, полковник.

**Т.** : Да уж, на пробы ничего не жалели.

**Х.** : А договориться с ним никто не пробовал?

**Т.** *(Плотнику)*: Расскажите ему, полковник. Если хотите, конечно.

**П.** : Отчего же, полковник... Со всем нашим респектом. Это было ещё в Ташлинске. Ну-с, я подпустил к нему одного человечка с самыми широкими полномочиями: деньги, комфорт, политическое убежище... стандартный набор для российского патриота. А за всё про всё — деликатное порученьице. Не в России даже — в одной мусульманской странишке...

**Х.** : Ещё в Ташлинске... «Белый верблюд», да?

**П.** : Не в этом дело, полковник. Вы же об договориться интересовались... Ну, поначалу всё пошло гладенько, поговорили, объект не отказывается... А через день этот мой человечек отдаёт концы. Острая коронарная недостаточность. И привет от тёти Франи. А объект сидел себе дома в шести километрах. Вот так с ним договариваться.

**Т.** *(мрачно)*: Теперь-то мы знаем, что для него и шесть тысяч не предел.

**Х.** : Шесть тысяч километров... три тысячи семьсот пятьдесят миль!

**П.** : Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос.

**Х.** : Что? Да... *(Титову.)* А вы ещё уверяете, полковник, что у вас нет никакой информации!

**Т.** : А вы полагаете, полковник, что такая информация вам поможет?

**Х.** : Ну, всё-таки...

*Пауза.*

**Х.** : Одно утешение — в советские руки он тоже не дался.

*Пауза.*

**Х.** : А если ударить из космоса?

**Т.** : Куда ударить? По Краснодару? А если мы в ответ врежем по вашей Филадельфии какой-нибудь?

**Х.** (*уныло*): Да нет, полковник, вы меня не так поняли... Но послушайте, ведь у него есть жена, ребёнок...

**П.** : Двое детей, полковник. С прошлого года — двое.

**Х.** : Тем более! Я уверен, всем нам известно, что существует набор определённых приёмов...

**Т.** (*резко*): Это не наши методы, полковник!

**П.** : И шо вы, начальничек, целку с себя строите? Не ваши методы... Вы же с профессионалами говорите!

**Х.** : Вот именно. Стыдитесь, полковник!

**Т.** : Уверю вас... О чем бишь я? Да! Краснодар!

**Х.** : Вот-вот. Сами-то вы были на этом Енисее?

**П.** (*разражаясь хохотом*): На Кубани, полковник! Не на Енисее, не на Рейне, не на Меконге, чтоб я так жил! На Кубани!

**Х.** : Ладно, на Кубани... Так вы сами-то были на Кубани?

**Т.** : Не приходилось, полковник.

**Х.** : Вот и мне не приходилось, полковник. А между тем...

**П.** : А между тем не пора ли нам... Полковник, вы говорили, что здесь есть ледяная водка.

**Т.** : И я не соврал, полковник. Уберите-ка со столика ноги, что за манеры...

*Он достаёт из холодильника водку и ставит на столик. Секунду любуется запотевшей бутылкой, затем виновато разводит руками.*

**Т.** : Только придётся, видимо, без закуски...

**П.** : А вот тут, батенька, мы вас и поправим!

*Он ставит к себе на колени объёмистый «дипломат», раскрывает его и выставляет на столик солидную пластмассовую коробку.*

**Х.** : Если уж на то пошло... (*Извлекает из портфеля несколько пакетов в пергаментной бумаге.*) Американцу не к лицу оставаться в долгу.

**Т.** : Нет слов.

*Он идёт к буфету и возвращается с рюмками, тарелками и вилками, после чего живо подсаживается к столику.*

**Т.** : Ну-ка, ну-ка, полковник, что у вас там?

**Х.** (*разворачивая пакеты*): Сандвичи, полковник. Прославленные американские сандвичи. Вот с ветчиной, вот с куриным салатом... а вот и с анчоусами...

**Т.** : М-м-м! Прелесть. Где вы всё это достаёте, полковник?

**Х.** : Секрет фирмы, полковник... (*Плотнику.*) А вы чем нас порадуете, полковник?

**П.** (*снимая крышку с пластмассовой коробки*): У меня скромно, по-домашнему.

**Х.** (*подозрительно*): Что это?

*Титов наклоняется над коробкой, нюхает. На лице его появляется выражение восторга.*

Т. : Не может быть! Шкварки? Гусиные шкварки?

П. : Точно, полковник. Самые натуральные грибины. И заметьте, свежие. Гусь ещё вчера утром гулял на птицеферме. А уж о мастерстве поварихи...

Х. (*нетерпеливо*): К делу, к делу! Полковник, распорядитесь, будьте любезны.

*Титов разливает водку, все поднимают рюмки.*

Т. : Ваше здоровье, полковник. Ваше здоровье, полковник.

П. : Лыхаим, полковник! Лыхаим, полковник...

Х. : Гамбэй, полковник. Гамбэй, полковник!..

Т. : Это по-каковски, полковник?

Х. : По-китайски, полковник.

Т. : Тоже красиво. Что ж, сдвинем их разом!

Х. : Содвинем!

*Все чокаются, выпивают и набрасываются на шкварки.*

Х. : Чудесно. Так вы говорите, полковник, у вас здесь есть знакомая птицеферма и знакомая повариха...

П. : Провокатор, чтоб я так жил...

Т. : В таком случае, по второй.

*Разливает водку. Все выпивают и принимаются за сэндвичи.*

*Хайтауэр вдруг отваливается на спинку дивана.*

Х. : Вот странное дело, меня потянуло в дремоту...

П. : А я так наоборот, разошёлся. Как, если по третьей, полковник?

*Титов с готовностью разливает.*

Х. (*расслабленным голосом*): Мне не надо, пожалуй. Если не возражаете, я слегка прилягу...

Т. : Сделайте одолжение, полковник...

*Хайтауэр умащивается на диване, подложив под голову свой портфель, и почти тотчас же издаёт залиvistый храп.*

*Плотник и Титов с недоумением глядят на него.*

П. : Что это его так развезло? С двух-то рюмок...

Т. : От жары, наверное...

П. : Может, и от жары... Ничего, проспится. Послушайте, полковник, вы так мне ничего и не скажете?

*Пауза.*

Т. : Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Знаю лишь одно.

П. : Выкладывайте.

Т. (*мрачно*): На небе один Бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет Вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Всё, что непокорно Москве, должно быть... (*Умолкает, словно спохватившись, торопливо опрокидывает свою рюмку и откусывает половину сэндвича.*)

**П.** : Всё, что непокорно Москве, должно быть... Понятно. Значит, бес — это ваша работа? Методом проб и ошибок, как говаривала тётя Бася.

*Хайтауэр говорит, не открывая глаз.*

**Х.** : О чём вы там шепчетесь?

**П.** : Я его вербую, а он не поддаётся, чудак...

*Хайтауэр, кряхтя, принимает сидячее положение.*

**Х.** : Нашли где вербовать... Здесь, наверное, в каждой стене по «жучку».

**П.** : Вы правы, полковник. Моя ошибка. А ну их к бесу, все эти дела. Предлагаю веселиться. Что бы такого... Да вот хоть бы... Сейчас я вам спою и спляшу!

*Титов судорожно хохочет.*

**Х.** (*брюзгливо*): Спляшете... В последний раз я видел, как вы плясали, в Эль-Кунтилле. С петлёй на шее. И ваши божественные ножки в драных кожаных туфлях дрыгались в фуге от земли...

**П.** : И всегда-то вы всё путаете, полковник! На вешалке там плясал не я, а бедняга Мэдкеп Хью, которого вы...

**Т.** : Да хватит вам препираться, в самом деле!

**П.** : Правильно. Хватит, хватит, хватит. К чёрту дела! Смотрите и слушайте сюда!

*Полковник Плотник вскакивает, засовывает большие пальцы рук под мышки и запекает, высоко вскидывая ноги:*

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!

Ицок, Ицок, старушек ты наш...

## **Эпилог второй (простодушный)**

*Внутренний монолог Кима Волошина. Ранним августовским вечером он сидит на берегу речки Бейсуг и предаётся бесплодным размышлениям о превратностях своей странной судьбы. Солнце клонится к закату, от речки пованивает, комары массами выходят на приём пищи, но ни один не приближается к бесу.*

Хорошо было богам. Зевсу, например. Выпил, закусил, трахнул молнией кого надо, грохнул громом где надо и обратно выпивать и закусывать. Даже промашки им с рук сходили. Кормит это Геба отцовского орла и проливает, руки-крюки, громокипящий кубок, как нерадивая лахудра кастрюлю со щами на коммунальной кухне. Ну и ухмыляется — так-де всё и было задумано... Её бы в мои сапоги! А здорово было бы, кабы опрокинула она этот самый кубок папочке Зевсу на бороду! Он бы доченьке показал небо с овчинку...

Да, боги нынче повывелись. И я при всей своей мощи никакой не бог. Бедный разум мой человеческий, не поспекает он за этой мощью. С другой стороны, можно было бы и гордиться. В моём лице создан невиданный юридический прецедент. Во всём мире (и у богов тоже) принцип какой? Устанавливается преступление, и за него следует наказание. Сто тысяч лет этот принцип действовал, и тут возник я и его перевернул. Я не устанавливаю преступление. Доказательством преступления является моя кара. Казнён — значит, злоумышлял. Лишён разума — значит, преступил. В штаны навалил — значит, намеревался

причинить ущерб Киму Волошину...

Но мне от этого радости мало, вообще только душевная смута. Во-первых, злоумышление злоумышлению рознь, а наказания — какие попало. Вон та девчонка Таську по снегу валяла, шалость детская, невинная... И погибла. А эти, что сговаривались меня ракетами ущучить, всего лишь поносом отделались. Правда, больше не сговаривались и, надо полагать, другим сговариваться заказали...

Чу! Ну вот, ещё кому-то досталось. И крепко досталось, упокой грешную душу его, Господи... Интересно, за что это я его так? Досадно, что не всегда дано мне это знать. А впрочем, что-то, наверное, вроде инстинкта сохранения разума. Наверное, знай я всё, с ума бы сошёл от ужаса и злости. Много, много их, и сильны они, и все против меня... Но я хоть и один, но сильнее их всех, я для них дьявол, источник всех зол... Они сами создали дьявола, а теперь норовят загнать его в преисподнюю. Интересно, хоть это-то они соображают? Нет, по-моему. Просто как эти комары: толкутся вокруг, крови жаждут, а приблизиться не смеют...

Ладно, если хотят жить, пусть научатся вертеться. Пусть привыкают к сосуществованию с дьяволом. Хотят мира — будет им мир, а к войне я готов всегда. И не о них моя забота. Васька, Васенька, Василёк мой, сыночек. Так-то всё вроде хорошо. Люсенька здорова, Таська уже и слышит, и говорит довольно внятно. Васька розовый и резвый, лихо ползает по комнате, смеётся-заливается, когда его к потолку подбрасываешь... И лезть к ним я отучил. Два раза лезли, вспомнить противно. А может, и больше двух раз... Да, пока всё вроде хорошо. Но боязно мне, боязно, Ким Сергеевич!

Ведь Васька — моя плоть и кровь. Люся рожать боялась. Что, если перешло к нему от меня всё это? Нет, не боязно мне, а страшно. Бесовское отродье. Мать манной кашей пичкает — злоумышление. Тут же удар — и конец. Сестрёнка на прогулке в лужу не пускает — злоумышление. Удар — и конец. А удар по матери или по Таське — это моментально мой ответный удар. Мощь моя, как всегда, намного опередит мой бедный разум... Нет, страшно мне, страшно. А может быть, обойдётся? Господа, глупо ведь наделять младенца такими силами!

Вот опять. Ещё кто-то попался. Летят сегодня, как мошкара на огонь. Знают же, как у меня: напавшего — истреби. И всё равно летят...

Точно это вырвалось из безумной души знаменитого японца: неужели никого не найдётся, кто бы задушил меня, пока я сплю?

## Эпилог третий (стандартный)

*Без даты. Без географии.*

Машина вынеслась на взгорок, и полковник Титов резко затормозил и выключил двигатель. Впереди, шагах в полтораста, посередине просёлка зияла глубокая яма, окаймлённая бугристым ободом из застывшей стекловидной массы. Из ямы ещё поднимался сероватый пар и несло химической вонью.

— Термофугас?... — то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил Хайтауэр.

— И всё-то вы знаете, полковник, — огрызнулся Титов.

— Ещё бы не знать... Вы же его с нашего слизали.

Не сводя глаз с ямы, Хайтауэр выбрался из машины, извлёк из заднего кармана плоскую флягу и отхлебнул. Полковник Плотник тоже вылез и остановился рядом.

— Оставьте глоток, полковник, — попросил он.

Хайтауэр, не глядя, сунул флягу в его протянутую руку.

— Всё, как будто, — произнёс он, вытирая ладонью губы.

— Да, бес умер, — отозвался Титов.

— И давно пора, — рассеянно сказал Плотник и тоже вытер губы. Протянул флягу

Титову. — Будете, полковник?

Титов помотал головой. Плотник вернул флягу Хайтауэру. Тот, по-прежнему не спуская глаз с ямы, снова приложился.

Изувеченные, наголо ободранные деревца по сторонам ямы курились сизыми и белыми дымками, потрескивало невидимое на солнце пламя. Налетел порыв ветра, и одно из деревьев с шумом рухнуло поперёк просёлка. Все вздрогнули. Плотник вдруг шагнул в сторону, нагнулся и поднял из травы какую-то чёрную тряпицу. Тряпица тоже слегка дымилась — неширокая полоска чёрного бархата.

— Да, — произнёс Плотник. — Конеч, и Богу слава. И вовремя, вовремя, друзья мои. Мы в этом маленьком дельце уже увязли по самое «не балуйся». А теперь всё шито-крыто. И никто не узнает, где могилка его.

Титов оторвал взгляд от ямы и посмотрел на небо. Небо было синее, по нему лениво ползли снежного цвета облачка. Хорошее небо. Отменная погода. И прекрасный пейзаж. Только вот яма смердит... и откуда вдруг взялось здесь столько ворон? Гляди-ка, десятки, сотни налетели! И ещё летят... и не каркают, сволочи, вот что странно... Э, ерунда. Всё в порядке. Конеч, и Богу слава, хотя я и атеист, кажется...

И тут что-то мигнуло в огромном пространстве. И их не стало. Всех троих. Только валялась в траве полоска чёрного бархата. Но вскоре и она исчезла.

**Библиотека сайта «Вселенная Братьев Стругацких» - [strugatskie.com](http://strugatskie.com)**